БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ ДИАЛОГ

Российская академия наук

Институт славяноведения

Национальная академия наук Беларуси

Институт литературы им. Я. Купалы

Белорусско-российский диалог

(Культура и литература Беларуси XX–XXI вв.)

Москва – 2006

Белорусско-российский диалог (Культура и литература Беларуси XX–XXI вв.) / Рос. акад. наук; Ин-т славяноведения; Нац. акад. наук Беларуси; Ин-т литературы им. Я. Купалы. – М.: Институт славяноведения РАН, 2006. – 244 с.

Сборник статей белорусских и российских ученых, сотрудников Института литературы им. Я. Купалы Национальной академии наук Беларуси и Института славяноведения Российской академии наук, посвящен комплексу важнейших современных проблем белорусской литературы и культуры.

Эта книга, первый за многие годы совместный труд литературоведов и культурологов Беларуси и России, предназначается прежде всего российскому читателю, который испытывает огромный дефицит в научных изданиях, посвященных белорусской тематике.

В оформлении обложки использован элемент декора поэтического сборника Максима Богдановича «Вянок» (Вільня, 1913)

ISBN 5–7576–0194–9

Вместо предисловия

Белорусская литературоведческая наука прошла большой и сложный путь развития, накопила значительный опыт исследования идейно-эстетических поисков и художественных достижений белорусских писателей. За последние годы произошла существенная переоценка фактов и событий, художественных произведений и творческих индивидуальностей – всего историко-литературного процесса в богатстве и разнообразии его проявлений. Современное белорусское литературоведение ставит своей целью всесторонне исследовать историю национального художественного сознания, дать объективную оценку творчества писателей, важнейшим, в том числе классическим, памятникам прошлого, проследить основные тенденции и закономерности литературного процесса на всем пути его исторического развития, обогащения и совершенствования.

Современная социокультурная ситуация, характер которой во многом обусловлен ходом объединения братских народов Беларуси и России, диктует необходимость активизации и оптимизации усилий в сфере расширения и углубления духовно-творческого обмена, установления тесных научных связей между двумя нашими странами. Именно поэтому Институт литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси не может оставаться в стороне от исторически обусловленного, магистрального направления по укреплению двухстороннего научного сотрудничества с коллегами из профильных институтов Российской академии наук. Речь идет не только о взаимосвязи и взаимовлиянии, но и о стратегическом взаимодействии, оптимальном ис-

пользовании большого потенциала и традиционных связей между учеными обеих стран.

Активизация и расширение подобных связей с Институтом славяноведения РАН – значительное явление в воссоздании двустороннего сотрудничества с российскими коллегами. Первым конкретным шагом в этом направлении стала подготовка сборника статей сотрудников обоих институтов, посвященного комплексу важнейших современных проблем белорусской литературы и культуры. В рамках «Договора о совместной научной деятельности» между нашими институтами основан постоянно действующий Международный научный семинар «Беларусь и Россия: литературные связи в контексте историко-культурных эпох», работа которого предусматривает проведение ежегодных симпозиумов и круглых столов, издание материалов в виде научных сборников под грифами обоих институтов и т. д. На очереди также совместная подготовка и издание «Очерков белорусской литературы и культуры», проведение в рамках гуманитарного научного сотрудничества конференций по вопросам взаимодействия литератур в литературном процессе стран СНГ и др. Все это станет действенным фактором дальнейшего взаимосближения и более глубокого взаимопознания наших литератур, культур, народов. Расширение сотрудничества, несомненно, будет способствовать укреплению научных и общественных связей между белорусской и российской интеллигенцией, а совместные проекты ученых-литературоведов академических институтов Беларуси и России станут гарантией успешного и плодотворного сотрудничества.

В.А. Максимович,
и.о. директора Института литературы
им. Я. Купалы НАН Беларуси,
доктор филологических наук

Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская (Москва)

Белорусская культура и литература накануне XX столетия*

После разделов Речи Посполитой и присоединения белорусских земель к Российской империи сложилась особая историческая ситуация, определившая все дальнейшее развитие Белоруссии, в том числе и культурное. В течение XIX столетия постепенно вызревают ростки новых этнокультурных явлений, которые затем сливаются в единый крепнущий социально-культурный и политический поток — белорусское национальное возрождение, история которого, особенно ранняя, пока очень плохо изучена. Крупнейшими внутриполитическими событиями XIX в. для Белоруссии были война 1812 г., восстания за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг., ликвидация униатской церкви 1839 г., крестьянская реформа 1861 г. Необходимо подчеркнуть, что с момента первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. и присоединения восточнобелорусских земель к Российской империи в административно-географический обиход начинает проникать само понятие «Белоруссия» в современном его значении, приобретая в условиях различного рода исторических корреляций все права на употребление как внутри государства так и вне его. Одновременно различными политическими силами делаются попытки реанимировать Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское, которые не прекращаются в той или иной форме вплоть до начала XX в. включительно. Один из таких планов, относящихся в 1810-1811 г., принадлежал группе белорусско-литовских магнатов, поддержанных первоначально императором Александром I. Тогда даже предполагалось присоединить к воссоздаваемому в составе Российской империи автономному образованию правобережную Украину. За-

мышлялись и серьезные культурные преобразования, правда, польский язык должен был быть доминирующим во всех сферах.

Вопрос о белорусском языке долгое время не ставился вовсе, а языковые диалекты белорусского населения чаще всего именовались без обозначения их определением «белорусский» или «белорусские». Едва ли не впервые вопрос собственно о белорусском языке (наречии) был поставлен известным российским археографом и историком К.Ф. Калайдовичем, обратившимся к его изучению в 1812–1813 гг., а затем напечатавшем специальную статью «О белорусском наречии» и «Краткий словарь Белорусского наречия» [1]. Сам К.Ф. Калайдович вполне осознавал, что он является, пожалуй, одним из первых в ученом мире, кто поднимает вопрос о белорусском языке и потому писал, что «намерение, руководствовавшее меня к написанию статьи сей, состояло в том, дабы обратить на столь важный предмет внимание самих Белорусцев... На... Белорусское наречие досель никто не обратил внимания, хотя оное весьма того достойно». К.Ф. Калайдовичу принадлежит и существеннейшее пояснение, касающееся разграничения белорусских и украинских языков. Кстати, один из знатоков последнего, уроженец Харьковщины и выпускник Харьковского университета, ставший в Виленском университете профессором российской словесности, И.Н. Лобойко также принадлежит к числу первых ученых–белорусоведов. Он даже называл всю кирилловскую письменность Великого княжества Литовского «белорусской». В послании к еще одному видному исследователю белорусской культуры, протоиерею Иоанну Григоровичу, он писал: «Когда я в 1822 г. приехал в Вильно, я весьма удивлен был письменным памятникам белорусского наречия, но мое удивление еще более возросло, когда я увидел, что здешние архивы по большей части ими наполнены» [2]. Примечательно, что все эти лица были деятельными участниками знаменитого «румянцевского кружка» — «ученой академии» графа Н.П. Румянцева, стараниями которого впервые началась серьезнейшая широкомасштабная работа по изучению истории собственно белорусской культуры. Недаром И.Н. Лобойко подчеркивал, что с помощью Н.П. Румянцева ему удастся показать обширную «область» знания, которую он стремился выделить и изучить «под

именем белорусской словесности», и благодаря всей этой работе «белорусская словесность еще при жизни» его «из мрака забвения с таким достоинством выступает на свет» [3].

В своем гомельском имении Н.П. Румянцеву удалось создать своеобразный научный центр по изучению истории и культуры Белоруссии, в котором термин «белорусский» употреблялся практически в нынешнем его значении. В сферу научных, политических и собирательских интересов государственного канцлера Н.П. Румянцева довольно рано было включено все, что имело отношение к судьбе одного из крупнейших некогда государств Европы — Великого княжества Литовского, свидетелем агонии которого он оказался. Со временем этот интерес канцлера становился все более целенаправленным. Ему удалось привлечь большое количество людей различных национальностей и специальностей к задуманной им работе, среди них были и многие природные белорусы, например, известные профессора И. Данилович и о. М. Бобровский — дети униатских священников. Двух последних можно по праву назвать одними из зачинателей белорусского национального возрождения, правда, сами они термин «белорусский» практически не использовали. Зная с детства местный народный диалект писали свои научные труды в основном на польском, а в ученой переписке с западноевропейскими и русскими коллегами пользовались преимущественно латынью и французским языком. Преобладание польского языка в культурной жизни белорусских земель, особенно в XVIII-XIX вв., до самого последнего времени необычайно затрудняло постановку проблемы разграничения культур народов Речи Посполитой, богатого ее наследия и народов–наследников, среди которых традиционно выделялись только поляки. К польской культуре и польскому относилось, а часто относится до сих пор все, что связано совсем не с этническим происхождением и даже не с самосознанием создателя тех или иных произведений, а преимущественно его языковой принадлежностью, каковая на просторах Речи Посполитой могла быть в означенное время, особенно, если речь вести о литературном или же научном творчестве вполне определенной, как это имело и до сего дня иногда имеет место с И. Даниловичем и о. М. Бобровским, которого даже такой видный

русский славист как В.А. Францев именовал «польским ученым», хотя сам о. М. Бобровский называл себя в переписке с европейскими коллегами не иначе как «Ruthenus». Впрочем, в определении национальности, национальной принадлежности многих польскоязычных авторов, в том числе и о. М. Бобровского доходит до подлинных курьезов и в наши дни. Совсем недавно один из крупнейших польских палеославистов и знатоков церковнославянского языка Л. Мошиньский назвал о. М. Бобровского «польским подлясским шляхтичем», хотя трудно поверить, что ему неизвестно об этническом происхождении этой «подлясского шляхтича», будущего профессора богословия и православного протоиерея, выходца из потомственной священнической семьи [4].

Профессора И. Данилович и о. М. Бобровский, а также целая плеяда иных западнобелорусских деятелей была тесно связана с основанным в 1803 г. Виленским императорским университетом, который до сих пор авторы польских академических изданий называют наиболее значимым польским учебным заведением в первой половине XIX в. На самом деле по составу преподавателей и студентов это было сугубо интернациональное учебное заведение [5]. Среди студентов большинство были выходцами с белорусских земель, представителей собственно польских территорий было всего несколько процентов — даже меньше чем выходцев с Украины. Не случайно, изучая историю собственного народа, современные литовские, украинские и белорусские исследователи все чаще обращаются к проблеме культурного наследия XVIII–XIX вв., в том числе к проблеме авторов, писавших исключительно или преимущественно на польском языке, но не являющихся этническими поляками. Сущность всех этих международных научных, социально-политических и культурных разногласий недавно очень точно определил белорусский философ и культуролог И. Бабков: «настоящий культурный /постколониальный диалог на просторах былой Речи Посполитой В-Прошлом-Двух-Политических-Народов А-Сегодня-Четырех-Независимых-Государств еще не начинался» [6].

Некоторая неясность в отнесении тех или иных произведений, культурных начинаний и авторов конкретно к той или иной культуре, тем не менее не исключает возможность говорить о них как о

явлении на территории Белоруссии, причем, естественно, в тесной связи с ее жизнью вообще. Адама Мицкевича, например, нельзя понять не зная судьбы его родной древней Новогрудчины — сердца белорусских земель. Сюжеты произведений великого поэта, его герои взяты из истории Великого княжества Литовского, да и сам он патетически восклицал: «О, Литва! Моя Отчизна».

Подобное «литвинство» исповедовал не только Адам Мицкевич, но и множество западнобелорусских его современников, бывших по преимуществу католиками и греко-католиками (униатами). Это «литвинство» — свидетельство прочности традиций народов бывшего Великого княжества Литовского, воссоздать которое в той или иной форме желали многие из числа потомственных его жителей — магнатов, шляхты, даже мещан.

Восточнобелорусские земли, где сильны были православие и давние связи с Россией, уже в конце XVIII в. весьма заметно ощущают влияние русской культуры, а через ее посредство и западноевропейской. Стараниями графа Н.П. Румянцева местечко Гомель превращается в современный город, который ныне стал вторым по величине и экономическому значению в Белоруссии. Благодаря Н.П. Румянцеву здесь появляется первая в Российской империи ланкастерская школа, стоятся фабрики и заводы, медицинские и торговые учреждения, учебные заведения и многое другое. До сих пор в Белоруссии это время, с 1796 г. по 1826 г. (момент кончины Н.П. Румянцева), называют «румянцевской эпохой» в истории Гомеля. Графу удалось построить совершенно особый по типу и философскому замыслу город, что явилось в ту пору одним из своеобразнейших крупнейших культурных явлений общеевропейского масштаба [7]. Н.П. Румянцев пытался создать в своем городе исключительно толерантную среду обитания для всех его жителей, исповедующих православие, включая и старообрядцев, иудаизм, католицизм. Он строит православные храмы, католический собор, синагогу, наконец, лицей, наподобие Царскосельского, который мог бы стать едва ли не самым оригинальным начинанием в кругу культурно-образовательных и научных систем, разрабатывавшихся в XVIII–XIX вв. в условиях полиэтничности и поликонфессиональности того или иного региона Европы. Примечательно, что об этой

стороне деятельности Н.П. Румянцева пока никаких значительных работ не написано, впрочем, до сих пор не появилось и ни одной обстоятельной его биографии, обобщающего монографического исследования о жизни и многочисленных разнообразных трудах государственного канцлера–мецената.

Наряду с Гомелем, на востоке Белоруссии большое развитие получает старинный г. Могилев, ставший столичным по многим своим функциям, в том числе и как резиденция, с 1773 г., главы римских католиков всей Российской империи. Там же, в Могилеве, формируется один из крупнейших центров православия и православной культуры на белорусских землях, заложенный еще в давние времена и значительно укрепленный благодаря Святителю Георгию Конисскому во второй половине XVIII в. Второй по величине после Могилева город тогдашней Белоруссии — Витебск также активно развивается. В самом начале XIX в. здесь появляется первое светское учебное заведение на белорусских землях — женское училище, а затем самые различные светские школы, научные и культурные учреждения и организации, газеты, издательства, библиотеки, архивы, в том числе богатейший Витебский центральный архив древних актов, а также знаменитый Витебский церковно-археологический музей, ставший образцом для ряда аналогичных заведений в Белоруссии, в частности, в Могилеве. Столь же быстрыми темпами развивался и г. Полоцк, где до 1820 г. действовала иезуитская академия — практически первое высшее учебное заведение на территории современной Белоруссии, а в 1835 г. был открыт кадетский корпус, среди тысяч выпускников которого были члены императорской фамилии, многие видные ученые и даже деятели белорусского национального возрождения. Именно в Полоцке 12 февраля 1839 г. собрался знаменитый униатский церковный собор, принявший акт о воссоединении с православной церковью. Событие это стало одним из важнейших в истории Белоруссии, споры вокруг которого не утихают до сих пор. Возвращение к православной вере предков оказалось тогда для некоторой части населения весьма болезненным. В тоже время переход белорусских униатов в православие не был одномоментным. Это касалось как отдельной приходской общины, монастыря, так и Церкви в целом. В сфере

книжной, например, по прежнему довольно долгое время в большом ходу оставались многие униатские служебные книги, прежде всего Требники, учитывавшие местные особенности. Народ пел те же кантычки (религиозные песни), в том числе на белорусском языке, которые записывались латинской графикой. Вот начало одной из самых известных среди них, очень любимой в белорусской крестьянской среде:

«O móy Boże! wieru Tabie,
I wsio wieriu ia dla Ciabie.
Wsiu nadzieiu w Tabie maiu,
Za wsio Ciabie wychwalaiu.
Ty satwaryw, Ty atkupiw,
Ty mianie Boże! aświaciw.
Niechay Tabie, hdzie iość ludzie,
Cześć i Chwała at wsiech budzie».

Примечательно, что по мнению большинства исследователей годы правления Александра I и отчасти Николая I оказались наиболее благоприятными в деле полонизации местного белорусского населения, которой русские монархи невольно оказали неожиданное содействие. Как пишут современные польские ученые, наряду с повсеместным господством польского языка еще и в середине XIX в. даже «в открываемых приходских русских народных школах, относящихся к ведомству Министерства народного просвещения, большинство учителей составляли поляки» [8]. Положение стало резко меняться лишь после восстания 1863-1864 гг., организаторы которого пытались привлечь на свою сторону белорусское крестьянство, но не добились успеха. В Белоруссии набирает темп начальное школьное строительство, создание русскоязычных школ различных уровней, которые к концу XIX в. окончило огромное число учеников, насчитывающее несколько сот тысяч человек, что позволило поднять грамотность населения к 1897 г. до 32%. Борьба польского и русского культурных начал на белорусских землях, разгоревшаяся почти сразу же после присоединения их к Российской империи, практически не прекращалась весь XIX в. и вспыхнула с новой силой после знаменитых царских манифестов от 17 апреля и 17 октября 1905 г. Кажется почти невероятным и пара-

доксальным, но именно эта борьба в определенной степени содействовала процессу белорусского национального возрождения, векторы которого опирались как на восточную, православную в своей основе традицию, так и на западную, католическую. Борьба польского и русского в использовании белорусского языка и за употребление его в различных сферах жизни еще очень плохо изучена. Но именно она показывает, какое важное значение придавалось ему для «разговора» с народом, точнее агитации последнего, привлечения на свою сторону, как это делали, например, такой мужественный организатор восстания 1863–1864 гг. как Кастусь Калиновский или ряд деятелей царской администрации. Кстати, шляхтич–католик К. Калиновский, которому польские исследователи отказывают в праве именоваться одним из творцов белорусской идеи, называя его образ «необычайно сильно мифологизированным» [9], печатал свои воззвания на белорусском языке латиницей, а царская администрация выпускала свои издания, набранные кириллицей.

Вся эта печатная продукция была обращена исключительно к крестьянам, которые составляли абсолютное большинство среди белорусского населения. Белорусский народ на протяжении всего века оставался по преимуществу сельским, деревенским, в городах проживало всего несколько процентов белорусов. По преимуществу городским было в Белоруссии еврейское население, доля которого в некоторых городах доходила до 70 и даже 80% и в среднем составляла свыше 50% в конце XIX в. Вместе с тем именно в городах отныне начинают осуществляться наиболее крупные и социально значимые культурные начинания. Вместе с тем, после подавления восстания 1863–1864 гг., начала проведения в жизнь крестьянской реформы 1861 г. в Белоруссии наступает новый период, характеризующийся усилением экономического развития, вхождением ее в систему капиталистических отношений, появлением новых политических сил. Большие изменения происходят в сельской среде, в кругу крестьянского сословия. Несмотря на почти полное сохранение традиционного уклада жизни, у крестьян значительно меняется взгляд на экономическое, культурное и даже политическое мироустройство. К сожалению, как ни странно, процесс этот очень плохо изучен. В данном направлении далее всех пока, пожалуй, продви-

нулись польские историки, по мнению которых в 1860–е гг. крестьянство Белоруссии и Литвы почувствовало себя не только экономически независимым от помещика, но вскоре также увидело свое духовное отличие. Вначале уяснило себе, что у него есть его собственный язык, литовский или белорусский, потом — своя вера [10]. Все эти изменения в сознании белорусского и литовского крестьянства стали одним из оснований начавшегося национального возрождения двух близких по своему общему историческому прошлому народов. Постепенно из крестьянской среды выходит достаточно численный слой местной интеллигенции — писари всех уровней, учителя различного типа школ, церковнослужители. Они становятся проводниками большого числа культурных начинаний, с которыми основная масса белорусского населения до той поры знакома не была. В деревню начинает проникать не только религиозная литература, очень любимая народом, по преимуществу русскоязычная, но и светская, включая периодическую печать. Возникают первые сельские библиотеки, поначалу в основном при школах и приходских церквах. Белорусский крестьянин становится совершенно не похож на образ славянского «невольника» с гравюры Ю. Азембловского, когда он до отмены крепостного права не мог распоряжаться своей рабской судьбой, находившейся всецело в руках польских помещиков и полонизированной шляхты — «в панской воле». К началу XX в. начинает, хотя и очень медленно, стираться грань между культурой высших слоев в Белоруссии и низших. Посредником при этом часто выступает город, в том числе и столицы России, где проживали десятки тысяч белорусов, мещанское сословие, растущая сельская интеллигенция, разночинцы, быстро развивающиеся средства коммуникации, наконец, сама складывающаяся система капиталистических отношений в целом. В то же время, как пишут современные белорусские историки, в среде веками ополячиваемой белорусской шляхты и разночинных слоев наблюдается пробуждение интереса к истории, этнографии и фольклору Беларуси, проявление пристального внимания к своим корням, осознание своей принадлежности к народу. «Главной сферой проявления белорусского национально–культурного возрождения с самого начала стала художественная литература, которая вме-

сте с тем была важнейшим средством и формой развития общенационального литературного языка. Последний начал формироваться на основе живого, многодиалектного народного языка без непосредственной опоры на достижения и традиции старобелорусской письменности. При этом художники слова использовали в своем творчестве диалекты родной им местности и в зависимости от происхождения и культуры воспитания — разную графику: кириллицу российского, или латиницу польского вида» [11]. Так появляется целая плеяда видных писателей, поэтов, композиторов, актеров, художников, принадлежащих сразу нескольким культурам. Среди них можно назвать В. Ваньковича, С. Монюшко, В. Сырокомлю, И. Хруцкого и многих других.

Пожалуй, самая яркая фигура белорусской культуры середины XIX в. поэт Винцент Дунин–Марцинкевич (1808–1884), сын небогатого шляхтича из центральной Белоруссии. Влюбленный в историю родного края, он, воспевая белорусского крестьянина, стал одним из признанных родоначальников новой белорусской литературы, белорусского литературного языка и одновременно белорусского национального возрождения, хотя сам считал себя поляком. Герои его произведений говорят на разных языках: крестьяне — на белорусских диалектах, шляхта — по-польски, чиновники — по-польски и иногда по-русски. В целом, в творчестве В. Дунина–Марцинкевича соединились традиции польского классицизма и сентиментализма, а позднее в какой-то степени и романтизма. Современные польские исследователи отрицают его принадлежность к числу «сознательных предтеч национальной белорусскости» [12]. Именно так писал о В. Дунине-Марцинкевиче и знаменитый филолог и культуролог А. Брюкнер (1856–1939), считавший, что это была «шляхетская поэзия в народном убранстве» [13]. Подобного мнения придерживался и такой известный исследователь как А.Н. Пыпин. Он, в частности, писал: «Не будем останавливаться на других явлениях этой “белорусской” литературы: мы имеем в ней вообще отражение польского взгляда на западный край как на составную часть и польской территории и польской национальности, и только в самое последнее время, перед польским восстанием, стало возникать представление о более сложном характере этого края, где требовал себе внимания и

своего права элемент народнорусский» [14]. А вот слова, написанные по-белорусски много лет позднее, в 1910 г., одним из учеников школы в доме В. Дунина-Марцинкевича, писателем А. Левицким: «... хоць ён першы сеяў зерняты, усходу каторых, бадай, ці спадзеваўся сам, — але в штодзенным сваім жыцці ня меў адвагі заявіць сябе шчырым беларусам, ня меў адвагі беларускую ідэю прыпасаваць да жыцьця і дзеля таго ня змог пацягнуць за сабой большаго гуртка блізкіх сабе людзей, ня мог нават знайсьці насьледнікоў сваей ідэі; і, хоць справу беларускага адраджэння зачапіў, але з мейсца яе не скрануў» [15]. Следует добавить, что В. Дунин-Марцинкевич как и его литературный наследник Франтишек Богушевич (1840–1900), оба адвокаты, неплохие знатоки русского языка, учившиеся в Петербургском университете, писали свои белорусоязычные произведения польской латинкой, что в условиях антипольских репрессий после восстания 1863-1864 гг. вызывало особые подозрения у царской администрации, усматривающей в их творчестве прежде всего пропагандистские мотивы, направленные против существующей власти. Вместе с тем, к концу XIX в. цензура начинает понимать, что подобное творчество — знак нового времени, когда наряду с «малорусской» нарождается и собственно белорусская литература, которая и в лице Ф. Богушевича, издавшего в 1891 г. в Кракове небольшой белорусоязычный сборник стихов «Dudka bielaruskaja», все еще не имела подлинного национально ориентированного деятеля. Академик Е.Ф. Карский (1860–1931) писал о западной, пропольской ориентации этих писателей, а современные белорусские исследователи из Польши называют их представителями собственно польско–шляхетского направления. Существуют и мнения ученых Беларуси о том, что «самосознание создателей белорусскоязычных произведений было лишено четкой национальной направленности» [16].

Необходимо признать, что конфессиональное размежевание в среде белорусского общества продолжало оказывать прямое влияние и на процесс национального возрождения, прежде всего на его всестороннюю культурную составляющую. Фактор этот, имеющий немаловажное значение и для сегодняшней Беларуси, играл тогда первостепенную роль в деле национальных исканий наиболее мно-

гочисленной части населения — крестьянской. Согласно переписи 1897 г. православных среди белорусов было тогда более 80%, а католиков, которые на территории Белоруссии проживали крайне неравномерно, свыше 18%. Белорусская крестьянская православная среда во второй половине XIX в. выдвинула из своих рядов ряд замечательнейших деятелей, чьи труды и по сей день имеют для белорусской и даже мировой культуры не одно только историческое значение. Таков, например, семитомный свод «Белорусы» (1903–1922) крупнейшего филолога–слависта Е.Ф. Карского, по сути открывшего всему ученому миру Белоруссию, белорусский народ, его культуру. Свою научную деятельность по изучению и утверждению достижений белорусской духовной культуры, связываемой им прежде всего с творчеством простого белорусского народа, этот уроженец одного из глухих сельских уголков Гродненщины, начал еще в 1870-е гг. В 1886 г. в Москве выходит первая большая его работа на эту тему «Обзор звуков и форм белорусской речи», а затем до конца XIX в. появляется множество других, в их числе несколько капитальных академических трудов, не утративших, как и энциклопедический свод «Белорусы», своего научного значения. Среди них объемная монография о старобелорусских переводах псалтыри и распространении книг Священного Писания «на народном языке». Одним из выдающихся предшественников Е.Ф. Карского в изучении белорусской культуры и языка явился создатель многих белорусоведческих работ, в том числе нескольких ценнейших словарей древнего и нового белорусского языка, как напечатанных, так и оставшихся в рукописи, но за которые их создатель даже получил Уваровскую премию, был сын псаломщика с Могилевщины И.И. Носович (1788–1877). В 1870 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет его «Словарь белорусского наречия», насчитывающий более 30 тысяч подробно объясненных живых белорусских слов, за который автор удостоился Демидовской премии. До сих пор остаются не напечатанными многие сочинения этого выдающегося деятеля белорусской культуры и ученого, порой насчитывающие сотни и даже тысячи рукописных страниц, среди них интереснейший, весьма объемный и содержательный литературный памятник мемуарного плана, повествующий о культурной жизни Белоруссии в XIX в.

Современником И.И. Носовича был и замечательный археограф Н.И. Горбачевский (1804–1879), вклад которого в основание будущих исследований по истории и культуре Белоруссии трудно переоценить. Им был по сути создан, разобран и упорядочен огромный архив Великого княжества Литовского, насчитывавший сотни тысяч древних актов на многих языках.

Примерно в те же, 1870-е — 1880-е гг., на белорусских землях ширится движение народников, основу которых составляла разночинная интеллигенция, в значительной части своей вышедшая и из крестьянского сословия, как это было, например, с Адамом Богдановичем (1862–1940), отцом одного из ярчайших деятелей белорусского национального возрождения, классиком белорусской литературы Максимом Богдановичем (1891–1917). Помимо немалого числа самых различных литературных сочинений, в том числе напечатанных, преимущественно этнографического содержания, А. Богданович является автором многих произведений, среди них —исторических повествований о белорусских народниках, в кругу которых, пожалуй, впервые был поставлен политически заостренный вопрос о Белоруссии, белорусском народе и его дальнейшей судьбе. Связь белорусских народников с общероссийским революционным движением и русской культурой очевидна, как очевидна связь с последней таких выдающихся деятелей белорусской культуры и науки какими были Е.Ф. Карский, И.И. Носович и многие другие, в том числе огромная масса белорусской сельской интеллигенции, вышедшей в основном из православного крестьянства, преимущественно учителей. Они стали не только практическими творцами белорусского национального движения, но, наряду с представителями его «католического» направления, и идеологами, теоретиками и организаторами. Говоря о «католиках» и «православных» в этом движении, известный белорусский национальный деятель, католический священник Адам Станкевич (1891–1949) писал: «Первые еще оглядывались на Польшу и на традиции Великого княжества Литовского, а вторые связывали судьбу Белоруссии с Россией и о традициях Великого княжества Литовского... почти что уже сосем не помнили. Эти интеллигенты не называли уже себя литвинами..., но отчетливо белорусами. Они перестали жить тради-

циями Великого княжества Литовского. Можно смело сказать, если речь идет о белорусских народниках..., — польские традиции, шляхетские и литвинские, отмерли совершенно» [17].

Одновременно восточнобелорусскими деятелями ведутся значительные этнографические исследования, результаты которых, сообщенные в различных научных изданиях России и отчасти за рубежом, способствуют формированию взглядов, как внутри империи так и за ее пределами, о существовании особого белорусского этноса с его древней культурой, народными обычаями, языком. Подобные работы белорусских ученых Н.Я. Никифоровского (1845–1910), Е.Р. Романова (1855–1922) и многих других до сих пор не потеряли своего значения как источники по истории белорусской культуры. В последней трети XIX в. начинают свою успешную деятельность виднейшие белорусские историки, среди них уроженец Гомельщины М.В. Довнар-Запольский (1867–1934), А.П. Сапунов (1851–1924), создатель знаменитой многотомной «Витебской старины» (1883–1888), которого называют «летописцем Витебщины». Рано приобщившись к исследовательской работе по изучению родного края, М.В. Довнар–Запольский уже с 1883 г. начинает активно печататься в самых различных изданиях России, в том числе авторитетных научных журналах. О своей родной Белоруссии он тогда писал так: «Поляки считали ее почти что не Польшей, великорусы почти Великороссией и даже малорусы, в лице львовского проф. А. Огановского..., признали белорусов почти малорусами» [18]. Много позднее, оценивая XIX в. в истории белорусской культуры, он сделает несколько важных выводов: «Год восстания 1863 был последним годом, когда появились печатные литературные произведения на белорусском языке. Это была агитационная литература, которую издавали как восставшие поляки, так и их противники. Обе стороны как бы спохватились в год восстания и вспомнили про то, что ими забыт главный элемент края, коренное его население — белорусский мужык... В 80-е годы ... с немалой трудностью пробивается растущая белорусская интеллигенция. Потому что выходит она из крестьянской среды, из мещанства, из среды бедной шляхты... Почти до конца 90-х годов местным людям, которые находились на службе, трудно было писать про «Северо–

Западный край», если они не выказывали себя завзятыми сторонниками официальной доктрины... В 90-е годы литературное и культурное возрождение Белоруссии проявляется уже многими путями. Оно выражается прежде всего в стремлении к познанию исторического прошлого и современного положения Белоруссии... Печатать оказалось возможным только в официальных изданиях, потому что чиновничья цензура была менее строгая, а среди редакторов оказался ряд белорусов, у которых тлело национальное чувство... Размещение в этих изданиях статей было и весьма целесообразно: собственно это были единственные периодические издания, которые доходили до народного учителя, священника, вообще до сельского интеллигента... С начала 90-х годов заметно оживление в области воинствующего полонизма. Возникают общества, которые ставят своей целью создать прежде всего человека-поляка, и эти общества направляют свою деятельность на ополячивание белорусов и литовцев, католиков... Русское культурное влияние... широкой волной вливалось в Белоруссию после 1863 г. Оно опиралось на школу, на церковь и, наконец, на административное содействие» [19].

В этой связи необходимо привести необычайно важные констатации современного минского этнолога П.В. Терешковича, пишущего о том, что «политика российской администрации не может быть понята однозначно. С одной стороны, она препятствовала формированию и распространению национального движения, с другой — именно она "конструировала" белорусскость, создавала "воображаемую" Белоруссию. И без этого этапа формирования белорусского проекта будущая национальная Беларусь едва ли имела бы шансы на возникновение» [20]. Ему же принадлежит мнение об особой роли так называемого «западно–русизма» в белорусской истории: «В данном случае необходимо отметить, что вообще грань между "западно–русской" и собственно белорусской национальной позициями применительно к 1870–1890-м гг. провести достаточно сложно. Поляризация эта произошла значительно позже — во второй половине 1900-х гг., когда белорусское национальное движение стало заметной политической и культурной силой. Вне всякого сомнения, что во второй половине XIX в. именно активность "запад-

но–русов" в первую очередь способствовала артикуляции белорусской этничности» [21].

Одной из главнейших особенностей белорусского национального возрождения и развития белорусской национальной культуры в XIX в. и позднее явилось то, что, будучи во многом их будителями, интеллигенты-католики, первоначально выходцы в основном из среды мелкой шляхты, не смогли донести этих идей до своих крестьянских одноверцев, повести за собой крестьянскую католическую часть белорусского народа, насчитывающую несколько сот тысяч человек, которые и по сей день, в большинстве своем, проживая в Белоруссии, считают себя поляками, а не белорусами. Понимая весь трагизм такого положения, фактической денационализации значительной части белорусского народа, отрицающей однозначную принадлежность к нему, многие идеологи, теоретики и практики белорусской идеи безуспешно пытались изменить ситуацию. Особенно заметной в этом была деятельность белорусского ксендза А. Станкевича, который всячески утверждая в межвоенные годы тезис о том, что «лацінскае каталіцтва — апора беларуская нацыянальнасці ў XIX ст.» [22], оставил нам весьма правдивые рукописные заметки конца 1945 г.: «Католическая проблема в БССР [23]. В них, среди прочего, есть одна очень важная констатация, изложенная с позиции католического священника-белоруса, раскрывающая особенности развития польской католической культуры в Белоруссии и даже России. А. Станкевич, адресуя свои заметки «правительству СССР», писал: «Преимущественно из Польши проникал в Белоруссию католицизм, и поляки здесь его насаждали. Отсюда совершенно естественно, что уже в своей у нас колыбели он принимал польскую окраску, польскую форму.

Оформившись канонически, после учреждения в Вильне католической епархии в конце XIV в., католическая здешняя церковь была поставлена в зависимость польской католической провинции с центром в Гнезне. Влияние польское усилилось. Когда же была создана в конце XVIII в. католическая провинция в Российской империи с центром в белорусском Могилеве, Католическая церковь у нас уже была почти целиком полонизирована.

Начиная с XIV–XV вв., польское общество сознательно поддерживало польские влияния в Католической церкви в Белоруссии и Литве, ясно отдавая себе отчет в том, какую пользу кроят в себе для Польши эти страны. Недаром поляки в XIX в., восставая против царской России и стремясь отреставрировать Польшу, повторяли, что без Белоруссии и Литвы нет Польши!

Могущественным фактором полонизации белорусского Католичества и вообще Белоруссии были иезуиты. Этот железной организации орден, члены которого в Белоруссии были почти исключительно поляки, работал здесь 250 лет (с 1565 по 1820 г.). Почти во всех крупнейших местечках и городах иезуиты у нас имели свои коллегии, дома, миссии. В их руках всецело находилось дело просвещения. Довольно густой, как на то время, сетью иезуитских школ была покрыта Белоруссия. Правда, имеются католические на белорусском языке катехизисы, изданные иезуитами сценические пьесы на польском и белорусском языке одновременно, а также имеются данные об употреблении иногда иезуитами белорусской речи в проповедях, но все это было только как тактическое отступление от главной их задачи: Беларусь привести в Католичество не белорусское по форме и духу, чего требует национальная природа белорусов и в некотором смысле сама природа Католичества как церкви интернациональной, но в Католичество польское, в польскую веру, как и сами иезуиты говорили.

При сем нужно помнить, что иезуиты влияли не только на белорусов–католиков, но также и на православных, особенно на белорусских вельмож, дети которых главным образом тоже обучались в иезуитских школах. Такие белорусские юноши очень часто под влиянием иезуитов переходили в Католичество, а если и оставались формально православными, то с польской душой.

Далее, когда самая сознательная и самая решительная проводилась полонизация Белоруссии в XVII–XVIII вв. — было это время полного закрепощения белорусского народа польскими или ополяченными панами и полной зависимости от них. Паны эти, как сказано выше, не стеснялись переписывать и православных белорусов в Католичество и всеми средствами, вместе с католиками, особенно

при помощи Костела, полонизировать их, тем более что Костел ведь тоже от них зависел во многом.

Католическим белорусским массам, попавшим в сети полонизма, с принципа навязывали в их церковной жизни польский язык как язык польской веры, которую они якобы и исповедывали. Темный, в рабстве находящийся народ думал, что он и в самом деле исповедывает «польскую веру», и ради веры полонизма держался и свыкался с ним, как с чем-то своим, дорогим и даже священным.

Ополячиванию белорусской Католической церкви содействовала в XIX в. в большой степени и медвежья русская царская политика.

В царствование... Николая I, Александра II и Александра III в целях обрусения белорусов начали вводить вместо белорусского и польского русский язык в церковную жизнь белорусов–католиков. Печатались на русском языке католические требники, катехизисы, молитвенники, священная история Ветхого и Нового завета, католические проповеди и др. Особенно усилилась эта правительственная акция во время Александра II, в годы от 1863 по 1883. Была группа ксендзов, во главе Сенчиковского, которая пробовала употреблять в костелах русский язык, но католическая церковь в целом была против, особенно когда стала известна более сокровенная цель обрусения: обращение белорусов–католиков в православие. Появились идеологи..., которые писали, что русский язык в костеле в Белоруссии белорусов–католиков совершенно обрусит и приведет в православие. Это смертельно перепугало белорусов–католиков и до фанатизма утверждало их в полонизме, так как дело уже касалось интересов их души».

Увы, «испуг» этот оказался слишком сильным, правда, причин тому, притом более существенных, чем те, что указал А. Станкевич, было куда больше. Одна из них - реальная слабость белорусского католического движения, невозможность с его стороны противостоять тому самому «полонизму», имеющему мощные столетние традиции, блестяще демонстрирующему на практике, в контексте исторической жизни нескольких народов, возможности культивирования в их среде польского национального самосознания, прежде всего через сферу костела, языка и в целом польской культуры. Воскресить в себе белорусское национальное начало

удалось совсем немногим белорусам–католикам, практически случай помог это сделать в первые годы XX в. шляхтичу Яну Луцевичу, будущему «величайшему гению белорусов» Янке Купале (1882–1942), вначале писавшему на с детства почти родном ему польском языке. Его преображение символизирует и начало нового периода белорусского национального возрождения, когда в ряды сторонников все активнее вливаются десятки, а затем сотни и тысячи новых лиц, формирующих обширное социо–культурное и этно–политическое пространство, о котором так проникновенно написал в 1907 г. Янка Купала:

«Эх, кіньце крыўдамі карміцца, —
Кожны народ сам сабе пан;
І беларус можа змясціцца
Ў сям'і нялічанай славян?
Напасцю, лаянкай напраснай
Грудзей не варта мазаліць!
Не пагасіць вам праўды яснай:
Жыў беларус і будзе жыць!» [24].

Литература

1. См. Сочинения в прозе и стихах: Труды Общества любителей российской словесности. М., 1822. Ч. 1. С. 67–80.
2. См.: ЧОИДР. 1864. Кн. 2. С. 45.
3. Там же. С. 46.
4. Подробнее обо всем этом см., напр.: *Лабынцев Ю.А.* Письменное наследие Великого княжества Литовского в глазах первенцев польской и русской гуманитарной науки: Виленская школа и профессор И.Н. Данилович // Россия–Польша: Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002. С. 321–331; *Щавинская Л.Л.* У истоков славяноведения: Польско–русский диалог и о. Михаил Бобровский // Там же. С. 332–343 и др.
5. Подробнее см., напр.: *Beauvois D.* Lumieres et Societe en Europe de l'Est: l'Universite de Vilna et les ecoles polonaises de l'Empire Russe (1803–1832). Lille–Paris, 1977. T. 1; Vilnius universiteto istorija. Vilnaius, 1979.
6. *Бабкоў І.* Ежы Гедройц і посткаланіяльнае мысленне // Кантакты і дыялогі. 2001. № 4–5. С. 11.

7. См.: *Морозов В.Ф.* Гомель классический: Эпоха, меценаты, архитектура. Минск, 1997.
8. *Zasztowt L.* Kresy: 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1997. S. 348.
9. В данной связи весьма показательны работы люблинского профессора Р. Радзика. См., напр.: *Radzik R.* Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000.
10. Нынешняя Польша является страной, где белорусоведческие исследования ведутся как нигде в мире. По нашим наблюдениям в современной Польше подобные работы в той или иной мере осуществляют около 200 человек. Естественно, приоритет отдается филологической и культурологической проблематике, все больше появляется научных трудов социо–экономической и политологической направленности, в этом сейчас заметна ускоряющаяся динамика. Куда сложнее с непростыми вопросами чисто исторического характера. Как ни странно, но именно они до самого последнего времени изучались весьма слабо и потому по сей день больших собственно польских обобщающих трудов по истории Белоруссии в общем-то не существует. Другое дело — заинтересованность отдельными избранными темами, прежде всего связанными с польским историческим контекстом, преимущественно отличающимися нынешним политическим звучанием или же связью с ним, хотя бы опосредованной. К числу последних со всей очевидностью принадлежит и тема белорусского национального движения, которую едва ли не первым среди поляков попытался исследовать Л. Василевский (1870–1936) еще до начала Первой мировой войны. Интерес к этим штудиям Л. Василевского и его личности сейчас необычайно возрос в Польше, что, впрочем, практически не добавляет ничего принципиально нового в знание о самом движении. Гораздо любопытнее взгляды и исследовательские оценки тех или иных уже хорошо известных явлений и фактов. Здесь мы должны сказать о достаточной неоднородности исследовательской среды Польши в изучении вопросов истории Белоруссии и белорусского народа, включая и все, касающееся белорусского национального движения. Уместно напомнить также, что в состав нынешней Польши вошли обширные территории искони заселенные белорусами. Это западная часть бывшего Великого княжества Литовского с центром в г. Белостоке, отошедшая к Российской империи согласно положениям Тильзитского мира 1807 г. и даже входившая на правах особой области в БССР в 1939–1944 гг. Именно с этой территории и происходит абсолютное большинство нынешних историков Белоруссии в Польше. Стоит ли говорить, что почти все они являются этническими белорусами, а многие из них и деятелями белорусского национального движения в современной Польше, стремящимися не только вести конкретную практическую

работу, но и исследовать это движение начиная с его истоков. Впрочем, значительных обобщающих трудов по данной проблеме пока, к сожалению, не создано, хотя работы в этом направлении ведутся с 1990-х гг. достаточно активно. Важно подчеркнуть, что и в польском научном пространстве мы наблюдаем сходную с другими странами картину — историей Белоруссии и белорусского народа в силу тех или иных причин занимаются в большинстве сами представители этого народа. Данное обстоятельство оказывается необычайно важным и при рассмотрении вынесенной в заголовок текста проблемы. Вместе с критикой многих положений историков Белоруссии различных направлений и ориентаций, историки Польши, изучающие Белоруссию, привносят в исследование проблемы национального движения большое число новых идей. Они же по сути стали инициаторами формирования особой исследовательской реальности, без сомнения редкостной в гуманитарном ученом мире, когда исследуемое и исследователь сливаются в единое целое, образуют своего рода монолит, что позволяет накапливать строго верифицированные данные и одновременно адекватно анализировать их. В самое последнее время заметны попытки ряда исследователей Польши уточнить и даже пересмотреть многие положения по истории белорусов и белорусского движения в Российской империи, иногда коренным образом переосмыслить отдельные важнейшие факты, явления и события тех лет, часть которых в историографии уже на протяжении века и более представлялась в качестве некой незыблемой основы и одновременно крупной вехи и маяка собственно белорусского национального движения. Примером здесь могут быть прежде всего работы историков Польши среднего поколения, таких как Е. Миронович, О. Латышонок, М. Мороз и др.

11. *Біч М.* Беларускае адраджэнне ў XIX – пачатку XX ст.: Гістарычныя асаблівасці, ўзаемаадносіны з іншымі народамі. Мінск, 1993. С. 10.
12. *Radzik R.* Op. cit. S. 218.
13. Цит. по: *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Белорусская культура // История культур славянских народов. Т. 2. От барокко к модернизму. М., 2005. С. 418.
14. *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. Минск, 2005. С. 95.
15. *Ядвігін Ш.* В. Марцінкевіч у практычным жыцьці // Наша Ніва. 1910. № 48. С. 735.
16. *Терешкович П.В.* Этническая история Беларуси XIX – начала XX в. в контексте Центрально–Восточной Европы. Минск, 2004. С. 74.

Современный белорусский ученый из Польши О. Латышонок так характеризует национальную ориентацию Ф. Богушевича: «Не подлежит сомнению, что сам Францишек Богушевич считал себя поляком и никогда не называл себя белорусом… Остается задать риторический вопрос: Как можно считать Богу-

шевича белорусским национальным поэтом, когда он сам, как и герой его произведений были поляками?». См.: Łatyszonek O. Narodowość Macieja Buraczka // Pogranicza języków pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Warszawa, 2003. S. 352.
17. *Станкевіч А.* Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення. Вільня, 1935. С. 55–56.
18. Цит. по: *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Белорусская культура... С. 421.
19. Там же.
20. *Терешкович П.В.* Указ. соч. С. 140.
21. Там же. С. 142.
22. См.: *Станкевіч А.* Хрысціянства і беларускі народ (Спроба сынтэзы). Вільня, 1940.
23. Центральная научная библиотека НАН Беларуси. Отдел редких книг и рукописей. Ф. 4. Оп. 1. Е. х. 22.
24. *Купала Я.* Поўны зб. тв. У 9 т. Мінск, 1995. Т. 1. С. 133.

** Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям»*

В.А. Максимович (Минск)

Еще раз о «смене постмодернистской парадигмы»

Одной из главнейших задач гуманитарной науки, в том числе и науки о литературе, как известно, является забота о человеческой душе, культивирование убеждения о неисчерпаемости и уникальности возможностей, заложенных в человеке Богом и природой. Литература и искусство на протяжении долгих веков стремились найти ту действенную интеллектуальную и духовную силу, которая указала бы обществу путь к внутреннему просветлению и озарению, привела к ослаблению конфликтности и конфронтации в любых их проявлениях и позволила прийти к согласию и взаимопониманию между людьми. При выборе путей решения сложных жизненных задач художественное слово призвано помочь личности и обществу сохранить стержневую внутреннюю константность, устойчивость и уверенность в успешном преодолении возможных трудностей и препятствий. В данном случае именно критический подход, «критический разум», по словам В. Журавлева, «могут быть для человека очень действенным и серьезным средством и гарантом самозащиты от разных случайностей и прежде всего — от сильного, негативного влияния на него замаскированной, закамуфлированной и загримированной в формы добра и правды заманчивой иллюзорной идеи, что таит в себе для слабо подготовленного сознания и излишне доверчивой, наивной души большую опасность легко принимать "на веру... шаблон пустых слов, пустые выражения, чуждые формы мыслей и чуждое содержание их» [1; С. 18–19].

В условиях возрастания системного кризиса, выражающегося в усилении мировоззренческого эгоцентризма, одномерной и однозначной нигилистической интерпретации окружающего мира, в от-

торжении традиционных систем ценностей адептами так называемой Новой Литературной Ситуации, литература и наука о ней оказались в непростом положении.

В этой связи следует признать, что большая опасность угодить в искусно расставленные сети литературной «смаковщины» таится в неконтролируемом процессе коммерциализации литературы с ее популистской ориентацией, в перенасыщенности книжного рынка дешевой продукцией постмодернистского «покроя», отвергающей эстетические и этические табу и способствующей превращению самой себя в источник растления душ через навязывание патологии и деградации в ее низких проявлениях. Ситуация тотального культурного менеджмента и маркетинга, отличающаяся всепоглощающим нивелированием природы эстетического и художественного при одновременном навязывании «махровой» эстетики, дает основания говорить об отсутствии какой-либо моральности и духовности в отношении подобного рода опусов[1]. Решаясь на их научное препарирование, мы должны быть максимально сдержанными в своих оценках и выводах, в расстановке акцентов. При всей неоднозначности и многомерности происходящих в обществе процессов не стоит забывать, что литературовед, наряду с литератором, художником-творцом существенно влияет на общественное сознание, на идейно-эстетический уровень читателя и призван стоять на страже общественного служения правде, совести, духовности; его профессиональный долг — подходить к сомнительным псевдохудожественным изыскам с самой высокой мерой требовательности, поверять высокими критериями художественности и нравственности, без чего искусство, литература не могут в полной мере выполнить свое высокое назначение.

В современных условиях литература отличается своей ангажированностью. Для литератора необычайное значение и значимость

---

[1] Известный русский литературовед Ф.Ф. Кузнецов в одном из своих интервью заявил, что настоящую литературу погубила постмодернистская литературная мода, потому что суть постмодернизма — в принципиальном отказе от подлинных человеческих ценностей (См.: Кузнецов Ф.Ф. Исповедь сына минувшего века // Литературная газета. 2006. № 7–8).

приобретает момент декларирования собственного взгляда, выражающегося прежде всего в позиционировании своих моральных и идейных установок, своего внутреннего кодекса, мироощущения и мировоззрения, своих пристрастий и привязанностей, симпатий и антипатий. Литература тем и становится ближе к человеку, что стремится прежде всего постигнуть его внутренние двигатели — запросы-желания, — уловить душевную настроенность, заглянуть в самые отдаленные, «кромешные» уголки его внутренне-личностной субстанции.

Данный интерес, и это следует признать, находится и в поле зрения постмодернистской (и околопостмодернистской) литературы, которая имеет цель извлечь из «человеческого материала» свою пользу, укрупняя интересующий ее периферийный, теневой ракурс художественно-психологического исследования. Подобную литературу привлекает нестандартный, «альтернативный» тип личности и поведения, когда, избрав позицию стороннего наблюдателя, можно абсолютно комфортно чувствовать себя «культурным аборигеном», вольным от всякого этического выбора, душевных терзаний и мук (в том числе мук совести), гражданского и просто человеческого долга, быть подчеркнуто равнодушным к чувствам светлым и высоким. Сознательная сосредоточенность внимания на аномальностях, внутреннем пограничье не может быть расценена только как циничный вызов серой повседневности, как игра в нигилизм, «болезнь роста», поза или бравада. Избранная позиция продиктована сознательным выбором, имеет строго продуманную бескомпромиссную мировоззренческую мотивацию, «философию», пронизанную духом отрицания и преподнесенную в «удобоваримой упаковке». Суть ее — в сплошном игнорировании моральных заповедей, морального императива, в избегании непосредственного сопричастия с жизнью, в уходе в мир болезненно искаженных грез, иллюзий — вычурных фантомов мира реального, осязаемого. Впрочем, последнего для постмодернистского сознания не существует, потому что он лишен смысла, диалектической взаимообусловленности и закономерности. Хаотизм, неупорядоченность, случайность, временность для постмодернистского канона — изначальная, знаковая сущность жизни. Отрывочные и калейдоскопически изменчивые эпизоды и фраг-

менты жизни, случайно схваченные деформированным воображением постмодернистского героя, препятствуют адекватному реагированию на окружающий мир как нечто цельное, гармоничное. Обратная — теневая, скрытая от любопытных глаз — сторона жизни, релятивизм ценностных установок и этических норм становятся всепоглощающими и полностью перекрывают пути к сущностному постижению межличностных и общественных связей и взаимозависимостей. Вседозволенность — в первую очередь в плане внутренней раскрепощенности — становится для постмодернистского автора и его героя гипертрофированной самоцелью, самозаданностью.

Нельзя полностью согласиться с доводом, часто приводимом в литературе по обозначенной проблематике, что все эти проявления можно квалифицировать как бунт одиночки, который болен не «болезнью тела», а «болезнью ума», и что симптомы этого бунта обусловлены «ментальной» патологией, напрямую связанной с состоянием общества, с экзистенцией личности в условиях смещенного, деформированного мира.

В чем-то близкий симптом — «болезнь ума» — был всесторонне исследован и описан в русской классической литературе XIX ст. Но между постмодернистски окрашенным симптомом болезни, с одной стороны, грибоедовским «Горем от ума» и лермонтовским «Героем нашего времени» — с другой, дистанция, как говорится, огромного размера. В первом случае «возбудителем» болезни стал цинизм, в другом — совесть. В постмодернистской транскрипции, согласно установке на деструктивный отказ от традиционных литературных ценностей и представлений и в соответствии с принципом тотальной антиномичности, приведенные названия звучали бы как «Горе от большого (=сверх) ума» и «Антигерой нашего антивремени». Произведения Грибоедова и Лермонтова — произведения глубоких художественных обобщений, социально-философской аналитики. Поднятые в них субстанциональные, морально-нравственные проблемы имели для своего и последующего времени непреходящую духовную и эстетическую ценность. Развивая мысль в русле характерологическо-мировоззренческих сопоставлений и аналогий, заметим, что постмодернистский герой заангажирован в антиидеал, в то время как тот же отданный «мечтательному идеалу»

(А.И. Герцен) Чацкий Грибоедова — максималист, романтик, который, видя вокруг себя подлость и омерзительность, не смиряется, а горячо отстаивает идеалы правды, добра и истины. Тот же Печорин, «лишний человек», при всем своем эгоцентризме, индивидуализме и скептическом отношении к, казалось бы, надежно установленным морально-нравственным ценностям, отличается недюжинной внутренней активностью, интенсивностью чувств, креативностью. «Лишние герои» классической литературы (отнесем сюда и пушкинского Онегина) с учетом всех нюансов и деталей остаются натурами сильными, жаждущими полноты и цельности жизни. В них преобладает созидательное, утверждающее начало, несмотря на присутствие большой гаммы противоречивых чувств и желаний. В отличие от постмодернистских маргиналов, они не чувствуют себя «богочеловеками», могущими преступить христианскую добродетель. Внутренняя запрограммированность их действий и поступков имеет позитивную, одухотворенную направленность.

Мир лишен всякого смысла и логической связи вещей — вот отправной пункт постмодернистского ригоризма. В сумбурном потоке жизни, в сложных перипетиях одномерно-гипертрофированного мира человек не способен отыскать точку опоры в безысходном поиске постоянно ускользающего от него смысла. Загнанный волею обстоятельств в темный лабиринт безнадежности и беззащитности, последний отнюдь не уподобляется более существу психологическому или метафизическому, но некоей принадлежащей глобальной системе отрицаний индивидуальности, лишенной внутреннего стержня, а потому «бесформенной», «аморфной». Ему противопоказана и, более того, чужда и непонятна активно-действенная жизненная позиция. Хотя это нисколько не мешает ему оставлять за собой право на избранность, исключительность. Отвергнув основополагающую систему позитивных принципов и приняв за точку отсчета волю случая, герой постмодернистского текста начинает упорно разрушать барьеры условностей. Этот процесс разрушения воспринимается как закономерное, в контексте постмодернистских мотиваций и установок, продолжение непрерывной борьбы за освобождение человека от всего человеческого, как бы игровое свыкание-адаптация его со всем низким, диким,

первобытным, агрессивно-наступательным. В добровольном внутреннем затворничестве в качестве некоей духовной компенсации он симулирует действие, поступок, выдавая себя за протагониста своего собственного вымышленного мира. В избранной мировоззренческой системе координат постмодернистский маргинал ощущает себя «человекобогом», способным переступить христианские заповеди и насладиться «обманчивой прелестью пагубного аморализма». Даже с поправкой на то, что постмодернистский герой живет в иное время, в иную эпоху с ее диктатом глобализации, предчувствием космического апокалипсиса, необычайно усложненными связями человека и общества, политики и морали, государства и личности, можно ли окончательно реабилитировать тип поведения и образ мышления *такого* героя? Можно ли воспитать на примере его жизненных норм и установок морально здорового человека, который не будет жить в мире симуляций и симулякров, зеркальных отражений и галлюцинаций-снов?

Деструктивность — в разных формах и проявлениях — доминирующий принцип постмодерна, какой бы национальной литературы это ни касалось. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением А. Кислициной, что подобная деструктивность «разрушала не "национальную духовную сокровищницу", а окаменевшие модели мышления, утверждая более широкий взгляд на жизнь с ее новым децентрированным обликом» и что «классическая литература была лишена права на выявление истины» [2; С. 87]. Ужаснуться можно, допустив — даже гипотетически — мысль об окаменевшей модели мышления великого Купалы! Если уже замахиваться на святое святых — на Пророков нации, на Будителей нации, — то о чем вообще можно говорить? Не надо заниматься казуистикой, не надо обелять и реабилитировать мертворожденное, псевдорожденное, бесстыдно при этом порицая то, что действительно имеет неоценимую, огромную национальную и историческую ценность и значимость!

Интригующий литературоведческий эвфемизм «смена культурной парадигмы» уж очень созвучен с банальным «смена караула» и большевистско-угрожающим «караул устал». Чем вызвана подобная смена? Оказывается, «пришествием» «второго закона термоди-

намики», мифами про конец света и т. д. Но нагнетание страха, апокалипсического психоза, а вместе с тем расширение культа брутальности, «чернухи», — могут ли они заставить человечество (и отдельного человека) «перейти на новый уровень сознания»? Невзирая ни на что адепты «апокалипсических страшилок» стоят на своем: пришествие «глобальной смены» — неминуемо. В этом могут убедить, утверждают они, «импортные» труды Н. Георгеску-Рогена «Энергия и экономический миф», Д. и Д. Медоуз «Границы роста», Т. Куна «Структура научных революций». Но зададимся вопросом: не есть ли «научное» предсказание и прогнозирование перманентных «взрывов и революций» одним из завуалированных проявлений глобалистской экспансии, лукавой формой зомбирования сознания, хитроумной идеологической «фишкой» (говоря на молодежном сленге), цель которых — породить массовый психоз, скепсис, вызвать паническое ощущение краха, чувство отчаяния, отчуждения, вражды и довести до духовной амнезии. Здесь невольно возникает ассоциация с тем же «троянским конем» — идеологической диверсией, цель которой — духовно опустошить личность, навязать ей животные инстинкты, привить апатию и равнодушие к жизни. Уже сейчас приходится констатировать: «эгоизм и душевная глухота приобретают такие масштабы, что человек все более враждебно относится к родителям, к семье, к собственным детям (если они появляются), ко всем людям, и тем более стране, в которой живет» [3; С. 12]. Горькая, но во многом справедливая истина звучит в следующих словах известного писателя-аналитика: «Приглядитесь внимательней, особенно к молодежи, вкусившей Интернета и таблеток экстази: они уже не живут, они функционируют как механизмы, не испытывая никаких стойких пристрастий. Они без колебания оставят друга в беде, уступят напрокат “возлюбленную”, заморят голодом родителей, останутся жить в той стране, где есть возможность получить толстые “бабки”» [3; С. 12]. Страшный и жуткий диагноз, имя которому – вырождение, распад. В этой связи шокирующими своими «откровениями» представляются выдержки из книги бывшего директора ЦРУ Алена Даллеса (1893–1969) «Рассуждение о реализации американской послевоенной доктрины против СССР» (1945): «Окончится война, все как-то утрясется, устроится.

И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, необратимого окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческис чувства. Мы будем всячески поддерживать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.

<…> Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Вот так это сделаем».

Такие и подобныс им заявления должны насторожить культурную — мыслящую — общественность, интеллигенцию, представителей Православной Церкви, деятелей науки, образования и культуры. Нельзя не согласиться с мнением В. Журавлева, что именно интеллигенция призвана генерировать продуктивные духовно-творческие идеи жизни и должна принимать самое активное участие в выработке важнейших составных частей механизма национальной идеи и концептуально действенной методологии самостоятельного критического мышления, не подвластного шаткой, неустойчивой и очень изменчивой в своих симпатиях и антипатиях конъюнктуры текущего момента [1; С. 21].

Жизнь убеждает: пришло время создания приоритетной долговременной Государственной программы, в которой должна быть выработана стратегическая линия по подготовке и изданию классической национальной литературы, всего лучшего, созданного на протяжении исторического развития культуры слова, прежде всего — литературы высокого художественного качества и социальной значимости. Успешное осуществление этого проекта будет иметь огромное культурно-просветительское, общественно-пропагандистское значение, откроет возможность широкого использования художественных достижений в практике школ и ВУЗов, поможет сформировать эстетические вкусы, идеалы, морально-нравственные устои и патриотические чувства. Нация только тогда будет достойно чувствовать себя в мире, когда позаботится бережно сохранять свой культурный генофонд, целеустремленно и решительно вести курс на сохранение и сбережение своих духовных вершин, своего историко-культурного наследия — национального достояния, которое должно служить на благо всего народа. Не нужно культивировать разного рода суррогат, маскультуру, прибегать к смакованию мерзости с целью услужить неразборчивому потребителю, удовлетворить его низменную потребность. Наряду с Библией, на книжных полках частных библиотек хотелось бы видеть тома, которые составляют золотой фонд отечественной литературы. Осуществить этот масштабный проект мы обязаны во имя нынешних и будущих поколений, во имя сохранения человеческого духа, человечности – в самом высоком значении этих слов. И особое место в этом высокородном проекте должны занять произведения национальных классиков, в которых органически соединились эстетическое и духовное начало, богатый исторический опыт жизни народа во всем богатстве и многообразии ее реальных проявлений.

Литература

1. *Жураўлёў В.П.* Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку. Мінск: Бел. навука, 2002. 184 с.
2. *Кісліцына Г.* Новая літаратурная сітуацыя – змена культурнай парадыгмы. – Мінск: Логвінаў, 2006. – 206.
3. *Скобелев Э.* Этика для анти-времени / Русский вестник. 2005. № 11. С. 12.

Т.С. Голуб (Минск)

Проблемы современной текстологии белорусской литературы. К вопросу издания Собраний сочинений Я. Купалы и Я. Коласа

Духовные ценности, созданные лучшими представителями народа на протяжении многих столетий, — органическая часть национальной культуры, фундамент ее дальнейшего развития, показатель интеллектуального, морального уровня нации, свидетельство ее жизнеспособных возможностей. Сохранение, изучение и издание классического наследия — проблема государственной важности, одно из приоритетных направлений литературоведческой науки, основой которой, как справедливо заметил Д. Лихачев, является текстология.

Текстология в Беларуси своими корнями уходит далеко в глубь веков, в те времена, когда монахи, редактируя и переписывая рукописные переводные книги, не подозревали, что используют текстологические приемы. Весьма серьезно занимался текстологической работой уже Кирилл Туровский (XII в.), который с термином «текстология», введенным Б. Томашевским в начале XX столетия, естественно, знаком не был. Такое же подсознательное применение текстологических приемов имело место в издательской деятельности белорусского первопечатника Ф. Скорины и его преемников С. Будного, В Тяпинского, составителей летописей и хронографов, сборников произведений устного народного творчества и т. п.

Основание текстологии белорусской литературы в ее современном толковании как филологической дисциплины, изучающей историю текста произведения с целью его издания, приходится на начало XX столетия и связано с именами специалистов русского литературоведения, которые по призыву правительства БССР прие-

хали тогда в Беларусь на постоянную научно-педагогическую работу. Среди них — академик И. Замотин, профессоры Е. Баричевский и А. Вознесенский. Вклад этих ученых в разработку теоретических основ и эдиционной практики очень велик. Особая роль в развитии и становлении текстологии Беларуси принадлежит Замотину. Именно под его непосредственным руководством и при его активном участии в белорусской литературоведческой науке была начата работа по подготовке к изданию классического наследия. В итоге свет увидели «Творы М. Багдановіча» в двух томах (1927–1928), однотомные издания «Творы» Тетки (Элоизы Пашкевич) (1934) и Збор твораў П. Труса (1934). И. Замотиным был подготовлен также сборник А. Гаруна «Матчын дар», вышедший в 1929 году. Каждое из перечисленных изданий вносит свой определенный вклад в историю текстологии Беларуси. «Творы М. Багдановіча» по праву признаны показательным изданием. Показательным в плане высокого профессионализма, культуры издания, научного уровня, в плане разработки и выдержанности принципов, которыми руководствовались составители. В «Творах...», как справедливо отметил М. Мушинский, Богданович, «впервые предстал во всем величии своего таланта — как классик белорусской литературы, один из основателей новейшей национальной поэзии, прозы, критики, отличный переводчик, непревзойденный мастер слова» [1].

В связи с ухудшением общественно-политической атмосферы в стране, сталинскими репрессиями и войной 1941–1945 гг. во второй половине 30-х и 40-е годы, традиции, заложенные Замотиным, к сожалению, были прерваны. Теоретическое осмысление текстологических проблем на данном этапе не проводилось, не издавались научно комментированные собрания сочинений. Опыт ученого-текстолога становится востребованным и возобновленым его продолжателями только в послевоенный период.

Почти восемьдесят лет прошло со дня выхода первого собрания сочинений — «Творы М. Багдановіча». К этой юбилейной дате ученые белорусской литературной науки пришли со значительными достижениями в области текстологии. Они накопили довольно богатый эдиционный опыт [2] и, конструктивно работая над подго-

товкой изданий классического наследия, успешно продолжают и обогащают традиции своих предшественников.

В последние двадцать лет текстология белорусской литературы поднялась на качественно новый уровень подготовки научно комментированных изданий. Самым большим достижением стали вышедшие в свет издания нового вида: Полное собрание сочинений М. Богдановича в трех томах (1992–1995) и Полное собрание сочинений Я. Купалы в девяти томах (десяти книгах) (1995–2003). Издание полных собраний сочинений в белорусском литературоведении осуществлено впервые. В этом отношении невозможно сравниться со многими бывшими союзными республиками и тем более Россией, где издание полных собраний сочинений исчисляется не одним десятком, но значимость начинания белорусских текстологов для национального литературоведения, безусловно, огромная. Это действительно большое событие, как в научной, так и общественно-политической, культурной жизни страны.

Выход Полного собрания сочинений Я. Купалы практически был завершен к 120-летию со дня рождения классика белорусской литературы. По сравнению с предыдущими научно комментированными изданиями оно имеет ряд превосходств. Здесь впервые представлено все творческое наследие писателя, выявленное на время подготовки Полного собрания сочинений. Корпус нового издания обогащен более чем восемьюдесятью поэтическими произведениями, которые публиковались при жизни поэта и после его смерти в разных печатных источниках, однако по определенным причинам в Собрания сочинений не входили. К ним относятся: «Папросту», «Забраны край», «Над Нёманам», «Сярод раз'юшаных сатрапаў», «Чужым», «Беларушчына», «На рынку», «У чужой старонцы», «Чараўнік», «Вялікдзень», «За пасвячэнне, вершык харошы», «Лямант пана Кавалюка», «Нашы дэпутаты», «Прыяцелі», «На Дзяды», «На Куццю» и др. Впервые публикуется стихотворение «Не плюй ў карытца», его текст печатается по автографу.

Количество публицистических статей в Полном собрании сочинений увеличилось почти наполовину и составило сто сорок четыре единицы. То же можно сказать про эпистолярное наследие, которое включает письма к ста двадцати шести адресатам. Впервые в науч-

но комментированное издание включены прозаические переводы Я. Купалы (с украинского языка — П. Панча «Зямля», А. Любченки «Пастух», «№ 2002», «Ціхі хутар»), дарственные надписи (адресованные более чем восьмидесяти лицам; сто сорок три единицы), коллективные произведения (семьдесят девять единиц), служебные и личные документы (семьдесят одна единица), названия книг из личной библиотеки поэта, где имеется его собственноручная подпись (8 единиц), а также «Расійска–беларускі слоўнік», в подготовке которого Я. Купала принимал активное участие.

Одним из главных показателей высокого уровня текстологической работы, безусловно, является качество представленных текстов произведений, их соответствие последней творческой воле писателя. Используя научно-теоретические наработки, комплексный подход в решении проблем, составители стремились не нарушить эту текстологическую заповедь. В результате в Полном собрании сочинений тексты избавлены цензорских купюр, искажений, которые имели место в предыдущих изданиях. Например, в стихотворениях «З песень нядолі», «Мой пагляд і мэта», «Шчаслівасць», «Сядзь тут, пад крыжам», «Кругаварот», «Прыстаў я жыць», «Над Нёманам», «Новы год», «Па Даўгінаўскім гасцінцы», «Паўстань» и др. восстановлены отдельные строки и строфы.

В процессе изучения истории текстов произведений составителям удалось по-новому подойти к решению некоторых текстологических проблем: установления канонического текста, атрибуции, композиции, датирования. В изда́нии уточнены даты написания довольно значительного количества стихотворений, что, безусловно, внесло определенные изменения в прежний порядок их размещения, а тем самым и в периодизацию творчества Я. Купалы.

Ряд нововведений содержит комментарий. Кроме того, что он существенно расширен и обогащен сведениями, изменена его структура: разночтения текста, которые в предыдущих собраниях сочинений подавались непосредственно в комментарии, вынесены в отдельный раздел — «Іншыя рэдакцыі і варыянты» и помещены в основном корпусе издания. Это существенно повышает статус всего, что написано рукой Я. Купалы, дает возможность читателю са-

мостоятельно определить причины и характер переработок текста, осмыслить процесс идейно-художественной эволюции писателя.

Заслуживает внимания каждый из разделов издания. Хотелось бы несколько слов сказать о последнем (девятом) томе Полного собрания сочинений. Он вышел в двух книгах, особенность которых заключается в том, что они преимущественно состоят из новых материалов. В частности, это касается разделов, где размещены дарственные надписи, личные и служебные документы Я. Купалы. «Летопись жизни и творчества» писателя, подготовленная И. Соломевичем, дополнена документами из Национального архива Республики Беларусь, что в научно комментированных изданиях белорусских писателей практикуется впервые.

Каждое событие происходит не само по себе. За этим стоят определенные коллективы, конкретные люди. Работа осуществлялась в Институте литературы НАН Беларуси. И если говорить о государственных учреждениях, которые имеют непосредственную причастность к осуществлению проекта по изданию Полного собрания сочинений Я. Купалы, то необходимо назвать Государственный литературный музей Я. Купалы, Национальный архив Республики Беларусь, издательство «Мастацкая літаратура».

Руководил проектом член-корреспондент НАН Беларуси М. Мушинский. Составители томов — А. Гесь, Т. Голуб, С. Забродская, Э. Золова, К. Казыро, Л. Мазаник, В. Рагойша, Д. Селеменев, В. Скалабан, Т. Строева, О. Шамякина, А. Яковлева, Я. Янушкевич. Предисловие к изданию написано академиком НАН Беларуси В. Гниломедовым. Он же, а также М. Мушинский, П. Васюченко, В. Рагойша, В. Скалабан, И. Богданович, Э. Золова — редакторы томов Полного собрания сочинений. Все, кто имел причастность к изданию наследия гениального художника слова, отнеслись к работе с глубоким осознанием ответственности и значимости дела, подтвердили плодотворность межведомственного сотрудничества.

В широких кругах общественности неоднократно поднимался вопрос о необходимости подготовки и издания Полного собрания сочинений известного современника Я. Купалы, классика белорусской литературы Я. Коласа. Прошло уже почти тридцать лет после

выхода последнего (четырнадцатитомного) собрания сочинений народного поэта Беларуси. Оно стало, можно сказать, библиографической редкостью, требует расширения корпуса издания, нового подхода в решении многих текстологических проблем, подачи действительно коласовских текстов произведений, освобожденных от разного рода редакторских вмешательств, цензурных и автоцензурных исправлений, возникших под воздействием негативных проявлений тогдашней политической системы.

Традиция почти одновременного издания собраний сочинений Я. Купалы и Я. Коласа сложилась еще при их жизни. В течение 1925–1932 годов вышло Собрание сочинений Я. Купалы в шести томах. В этот же период было издано двухтомное Собрание сочинений Я. Коласа (1928–1929). В начале 50-х годов параллельно с первым посмертным Собранием сочинений Я. Купалы в шести томах (1951–1954) вышло последнее прижизненное Собрание сочинений Я. Коласа в семи томах (1952–1954). Позже наблюдается та же тенденция: в 1961–1963 годах было выпущено в свет Собрание сочинений Я. Купалы в шести томах, в 1961–1964 — Собрание сочинений Я. Коласа в двенадцати, в 1972–1976 годах — Собрание сочинений Я. Купалы в семи томах, в 1972–1978 — Собрание сочинений Я. Коласа в четырнадцати. Стремились сохранить эту хорошую традицию и в дальнейшем. В начале 90-х годов XX столетия также была запланирована подготовка новых научно комментированных изданий литературного наследия Я. Купалы и Я. Коласа (соответственно): Полное собрание сочинений в 9-ти томах и Собрание сочинений в 18-ти.

Планы постепенно реализуются. Первый научный проект выполнен. По осуществлению второго Институтом литературы НАН Беларуси ведется активная работа. В этой связи, видимо, могут возникнуть вопросы: почему не полное собрание сочинений? Почему в 18 томах? И т. д. Вопросы действительно правомерные.

Когда издание планировалось, в расчет брались многие факторы: широкая география фондов, где могут сохраняться автографы Я. Коласа или материалы, связанные с жизнью и творчеством писателя; степень изученности государственных и личных архивов, их доступность для использования; финансовые и кадровые вопросы;

срок выполнения проекта и пр. Существенную роль в том, что запланировано не полное собрание сочинений Я. Коласа, а собрание сочинений, сыграли объективные причины морально-этического характера. Было учтено право наследников, физических лиц, у которых сохраняются те или иные материалы Я. Коласа (стихотворения-посвящения, письма, дарственные надписи), представлять или не представлять их для изучения и публикации. Практика подготовки нового издания показывает, что такие моменты имеют место. Например, в Государственном литературно-мемориальном музее писателя хранятся 300 писем Я. Коласа, написанных к А. Кетлер, однако в этом году дочерью адресатки продолжен срок запрета на их публикацию еще на десять лет. Известно, что у родных Н. Чикалинскай также имеются автографы Я. Коласа, в том числе и письма, но их для текстологического изучения пока не выдают. Проблемы такого плана, разумеется, со временем будут решены. На данный момент ситуация складывается так, что одни не готовы разрешить опубликовать то, что когда-то рукой и сердцем великого классика было написано его знакомым и близким, вторые не готовы видеть это предоставленным на всенародное обозрение. Текстологам же приходится считаться с правами и чувствами живых людей и одновременно выполнять поставленную перед ними задачу: издать творческое наследие Я. Коласа в наиболее полном объеме.

Проблем, связанных с подготовкой нового научно комментированного издания Я. Коласа, немало. Они носят научно-практический, теоретический и финансовый характер. Определенные сложности в работе возникают в связи с поиском, выявлением и приобретением материалов, хранящихся в фондах архивов, музеев, библиотек сейчас уже заграничных стран (например, в городах Вильно, Москва, Ташкент, Казань), с недостатком современных технических средств, с отсутствием возможности разработок, а значит, и применения новых компьютерных программ, с утратой прежних межведомственных контактов и т. п. Если развить каждую из очерченных проблем и глубже вникнуть в их суть, то принятое решение — подготовить научно комментированное издание Собрания сочинений Я. Коласа, которое на определенное время удовлетворит запрос общественности, а в дальнейшем будет прочной ос-

новой для Полного собрания сочинений — целиком оправдано. И все же следует заметить, что такое оптимальное на данный момент решение проблемы в какой то мере может стать сдерживающим фактором в подготовке академического издания наследия Я. Коласа в полном объеме. Учитывая сегодняшнее положение дел (трудоемкие перспективные планы по изданию социально значимой литературы на ближайшие двадцать лет, катастрофическую нехватку кадров, финансовые и обусловленные ими многие другие научно-теоретические и практические трудности), рассмотрение этого вопроса, скорее всего, будет отложено на непредсказуемо длительный срок.

Обратимся к реалиям текстологической лаборатории. Работа над Собранием сочинений Я. Коласа идет в соответствии с методологическими принципами нового издания, с учетом специфики текстологии произведений писателя. Последнее прижизненное Собрание сочинений в семи томах (1952), в подготовке которого Я. Колас принимал непосредственное участие, принято за основной текст. Сверка текстов проводится заново, причем, со всеми прижизненными печатными и рукописными источниками. Встречаются случаи, когда текст одного и того же стихотворения имеет 9–10, а иногда и больше, источников (например, «Будзь цвёрды», «Эй, скажы мне, небарача», «Заклiканне вясны»).

В результате научно-текстологического изучения текстов уточнены названия отдельных произведений, выявлены другие редакции, возобновлены фрагменты, измененные по идеологическим соображениям, исправлены ошибки и расширены рамки датирования произведений и т. д.

Впервые в Собрание сочинений Я. Коласа будет включено около девяноста стихотворений, публиковавшихся раньше только в прижизненных сборниках и периодической печати. Новое издание пополнят также рассказ «Бульбалоз» и притча «Святая нядзелька». Народная сказка в обработке Я. Коласа «Волшебная жена», стихотворения «Бяднота», «Мужык», «Другу», «Красавице», «На просторе», «Горад i веска», «...Мой зрок як лёд халодны» и др. печатаются вообще первый раз.

На данный момент выявлено около 500 новых единиц эпистолярия и более 200 литературно-критических и публицистических ста-

тей. Впервые в Собрание сочинений планируется включить коллективные произведения, дарственные надписи.

Многие вопросы текстологии произведений Я. Коласа, которые поднимались в ранее опубликованных статьях составителей предыдущих Собраний сочинений писателя, исполнители данного проекта осмысливают с учетом новых наработок и тех материалов, что выявлены в процессе подготовки (неизвестных ранее автографов, корректур, документов), а также с учетом современных литературоведческих исследований. Строевой Т.Г. например, доказано авторство Я. Коласа в отношении стихотворения «Гурка і Лідвалі». Оно печаталось в газете «Наша ніва» за подписью *Як* и приписывалось Я. Купале. Пересмотрено также прежнее решение коллег-текстологов по поводу выбора основного текста «Казак жыцця», поэма «Сымон-музыка» печатается в двух редакциях (3-я и 1-я), причем, первая из них подается по печатному первоисточнику, а не по автографу, как это было раньше, и т. д.

Принцип подачи разночтений такой же, как и в Полном собрании сочинений Я. Купалы. Несмотря на то, что коласовское издание не полное, наличие раздела «Іншыя рэдакцыі і варыянты» целесообразно. Систематизированные текстовые отличия отражают важнейшие этапы работы писателя над тем или другим произведением, предоставляют языковедам, литераторам, историкам, этнографам богатейший материал для исследования, позволяют читателю с разными запросами самостоятельно определить характер внесенных изменений, понять причину их появления. Свод рукописных и печатных вариантов и разночтений в дальнейшем облегчит работу последующих текстологов, избавит их от трудоемкой технической работы по сверке этих источников.

Правки, внесенные Я. Коласом в текст, имеют разноплановый характер: языковые, стилистические, смысловые. Появление последних из них не всегда объясняется стремлением писателя к художественному усовершенствованию произведения. Некоторые из смысловых изменений выразительно свидетельствуют об осознанно-вынужденном сглаживании писателем политически острых моментов. Подтверждением тому могут быть рассказы «Туды, на Нёман!», «У двары пана Тарбецкага», повести «На прасторах жыцця»,

«Адшчапенец», многие публицистические статьи и т. п. По причине недостающих документов и сведений (автографов, архивных материалов издательств, в которых печатались произведения, корректур с авторскими и редакторскими правками и т. д.) текстологам довольно трудно давалась решение проблемы выбора основного и восстановления подлинно авторского текста этих произведений. Пристальное изучение источников текстов, общественно-политической обстановки 20–50-х годов XX столетия, в которой произведения были написаны и переиздавались автором, материалов, содержащих прямые и косвенные сведения о жизни и творчестве Я. Коласа, все же позволили найти новый подход в решении названных проблем. В итоге, сделанные автором сокращения текстов и переработки фрагментов идейного характера, вызванные событиями тех лет, в издании будут восстановлены. Исключением является повесть «Адшчапенец». Поскольку после внесенных писателем правок существенно изменилось ее идейно-художественное содержание, она печатается в двух редакциях, Текст 1932 года, как подтверждает история создания произведения, соответствует авторской творческой воле. В нем замысел писателя нашел наиболее полное воплощение. Этот текст будет напечатан в основном корпусе тома, а текст 1952 года – в разделе «Іншыя рэдакцыі і варыянты».

За последние два десятилетия государственные архивы, музеи значительно пополнили свои фонды материалами, связанными с жизнью и творчеством писателя. Они, разумеется, остались не использованными при подготовке предыдущих Собраний сочинений. Только к стихотворениям 1939–1945 годов в фондах музея Я. Коласа и личном архиве потомков писателя сохраняется 480 автографов (в предыдущем издании упомянуто 58), около 200 единиц машинописных текстов (в предыдущем издании они не названы). Например, сказка «Адзінокі курган» насчитывает 7 автографов и 2 машинописных текста, сведения о наличии источников текста поэм «Суд у лесе», «Адплата», «Рыбакова хата» имеются в 13 описях, объемом в тысячу страниц, большую часть которых составляют автографы. Судя по материалам творческой лаборатории, Я. Колас много работал над усовершенствованием своих произведений, неоднократно возвращался к ранее написанному. Рассказы в стихах, к

примеру, «За дождж», «Паслушная жонка», «Батрак», «Ігрышча», стихотворная сказка «Дзед и мядзведзь» после авторской доработки воспринимаются как две редакции. В некоторых черновых автографах стихотворений имеется по четыре – шесть вариантов одних и тех же строк и строф. В процессе сверки все эти моменты текстологами зафиксированы. Они раскрывают особенности творческой манеры Я. Коласа, отображают процесс воплощения авторского замысла, роста творческого мастерства, формирования мировоззрения и т. д. Раздел «Іншыя рэдакцыі і варыянты» в результате значительно пополнился и содержит ценнейший материал по изучению истории текста произведений, материал, открывающий новые возможности для научных изысканий.

Период подготовки научно комментированного Собрания сочинений Я. Коласа завершается. Большую помощь и содействие в выполнении этого важного научного проекта оказывали наследники писателя, сотрудники Государственного литературно-мемориального музея Я. Коласа.

За счет новых произведений писателя, богатых вариантов и разночтений, расширенных сведений комментариев, нового иллюстрационного материала Собрание сочинений классика белорусской литературы существенно превысило ранее определенный объем. Приняв во внимание культурную, научную и общественную значимость издания, принято решение увеличить количество томов с 18-ти до 20-ти.

Два первых тома уже находятся в издательстве «Беларуская навука» (стихотворения 1898–1938 гг.) и выйдут к 125-летию Я. Коласа, которое в 2007 году будет широко отмечаться общественностью.

Собрание сочинений Я. Коласа обогатит традиции издания творческого наследия классиков белорусской литературы, предоставит исследователям новый материал для всестороннего осмысления вклада народного писателя в развитие национальной литературы, инициирует творческую мысль переводчиков, композиторов, художников, удовлетворит эстетичные, информационные и другие интересы многочисленной читательской аудитории.

Текстология белорусской литературы, как и все отечественное литературоведение, не может успешно и конструктивно развиваться

без учета духовной востребованности общества. История издания творческого наследия классиков белорусской литературы Я. Купалы и Я. Коласа однозначно подтверждает, что именно такой подход был и остается одним из главных ориентиров текстологов разных поколений.

Полное собрание сочинений Я. Купалы в 9-ти томах и Собрание сочинений Я. Коласа в 20-ти — событие огромной общественно-политической, национально-культурной важности. Это большое духовное достояние не только отечественной, но и общечеловеческой культуры.

Литература

1. *Мушынскі М.* Праблемы выдання класічнай спадчыны: Вопыт мінулага, сучасны стан, перспектывы // Гуманітарныя і сацыяльныя навукі на зыходзе XX ст. - Мн., 1998. С. 482.
2. *Багдановіч М.* Творы: [У 2 т.]. Мн., 1927–1928; *Цётка.* Творы. Мн., 1934; *Трус П.* Зб. тв. Мн., 1934; *Багдановіч М.* Творы. Мн., 1957; *Дунін-Марцінкевіч В.* Зб. тв. Мн., 1958; *Багдановіч М.* Зб. тв. У 2 т. Мн., 1968; *Багдановіч М.* Поўны зб. тв. У 3 т. Мн., 1991–1995; *Купала Я.* Зб. тв. У 6 т. Мн., 1951–1954; *Купала Я.* Зб. тв. У 6 т. Мн., 1961–1963; *Купала Я.* Зб. тв. У 7 т. Мн., 1972–1976; *Купала Я.* Поўны зб. тв. У 9 т. (10 кн.). Мн., 1995–2003; *Колас Я.* Зб. тв. У 12 т. Мн., 1961–1964; *Колас Я.* Зб. тв. У 14 т. Мн., 1972–1978; *Мележ І.* Зб. тв. У 6 т. Мн., 1969–1971; *Мележ І.* Зб. тв. У 10 т. Мн., 1979–1985; *Броўка П.* Зб. тв. У 9 т. Мн., 1987–1992; *Бядуля З.* Зб. тв. У 4 т. Мн. 1951–1953; *Бядуля З.* Зб. тв. У 5 т. Мн., 1985–1989; *Чорны К.* Зб. тв. У 6 т. Мн., 1954–1955; *Чорны К.* Зб. тв. У 8 т. Мн., 1972–1975; *Гарэцкі М.* Зб. тв. У 4 т. Мн., 1984–1986; *Гарэцкі М.* Творы. Мн., 1990; *Гарэцкі М.* Гісторыя беларускай літаратуры. Мн., 1992; *Зарэцкі М.* Зб. тв. У 4 т. Мн., 1989–1992; *Караткевіч У.* Зб. тв. У 8 т. Мн., 1984–1990; *Крапіва К.* Зб. тв. У 6 т. Мн., 1997–2004; *Лынькоў М.* Зб. тв. У 8 т. Мн., 1981–1985; *Пестрак П.* Зб. Тв. У 5 т. Мн., 1984–1986; *Пушча Я.* Зб. тв. У 2 т. Мн., 1993–1994 и т. д.

М.И. Мушинский (Минск)

Национальный шедевр в восприятии иноязычного читателя:
«Новая земля» Якуба Коласа в переводе на русский язык

В созвездии славных имен, которыми по праву гордится белорусский народ, Якубу Коласу (1882–1956) принадлежит одно из самых почётных мест. Классик национальной литературы, непревзойденный художник слова, автор поэтических шедевров, вошедших в золотой фонд национальной изящной словесности, учитель нескольких поколений творческой молодежи, педагог, литературный критик, публицист, переводчик, учёный, один из крупнейших организаторов науки, государственный деятель, человек большой и щедрой души — таким был Якуб Колас в восприятии современников. Таким он остаётся и сегодня в сознании белорусской общественности, многочисленных почитателей его таланта. В художественных произведениях и многогранной общественно-культурной деятельности Якуб Колас предстает как живое воплощение духовной силы народа-труженика, как яркий символ самоотверженного, бескорыстного служения Отчизне. Неоценимая заслуга Якуба Коласа и его великого соратника Янки Купалы в том, что они как подлинные поэты-пророки, духовные лидеры национально-освободительского движения, благодаря своему таланту, сумели в полный голос, но каждый по-своему, поведать миру о Беларуси и её праве занять «свое почетное место между народами».

Многое сделано Якубом Коласом и в деле укрепления связей между братскими литературами, прежде всего — с русской литературой. «Наша белорусская литература возникла, росла и крепла в самом тесном единении и при поддержке великой русской литера-

туры» — говорил Якуб Колас, выступая на вечере встречи с ленинградцами в 1947 г. Не раз отмечал он благотворное влияние русской классики на белорусских поэтов, прозаиков, драматургов, в том числе и на своё творчество. «Не будь Пушкина с его «Онегиным», одой «Вольность» и «Посланием в Сибирь», «Капитанской дочкой» и сказками, — не было бы, наверное, и моих поэм «Новая земля» и «Рыбакова хата», моей лирики и прозы», – писал Якуб Колас в 1949 г. Вообще отношение белорусского писателя к пушкинскому наследию, ко всему, что связано с именем великого русского поэта, было почтительным, трепетным. Показательный штрих. В 1943 г., находясь в Ташкенте, Якуб Колас как депутат Верховного Совета БССР обращается к секретарю ЦК КП(б) Узбекистана М.А. Ломакину с ходатайством оказать материальную помощь эвакуированной из Ленинграда правнучке А.С. Пушкина Вере Константиновне Красовской (девичья фамилия — Ганнибал) и её сыну, талантливому художнику-графику, демобилизованному по болезни из армии.

Большое внимание уделял Якуб Колас вопросам, связанным с переводом и изданием лучших произведений братских литератур на белорусский язык. Лично ему принадлежит перевод пушкинской «Полтавы», лермонтовского «Демона», поэм и стихотворений Т. Шевченко.

Русская литературная общественность также не оставалась в долгу перед белорусским писателем, пропагандистом русской классики. Отдельные его стихотворения переводились на русский язык уже в 20-е годы. А в 1934 г. всесоюзный читатель получил перевод поэмы Якуба Коласа «Новая земля» (1911–1923 гг.). Увы! Это был всего лишь сокращенный вариант, ибо в русскоязычный текст не вошло 13 глав из имеющихся тридцати. Полного перевода «Новой земли» Якубу Коласу пришлось ждать почти 15 лет. И лишь в 1982–1983 гг. к столетию со дня рождения поэта издательство «Художественная литература» выпустило в переводе на русский язык Собрание сочинений Якуба Коласа в 4-х томах, куда вошли и его замечательные творения — поэмы «Новая земля» и «Сымон-музыка» тиражом 50000 экземпляров. Переводчики — С. Городецкий, Е. Мозольков, П. Семынин, М. Исаковский, П. Радимов. К сожале-

нию, и этот перевод очень несовершенен. Он никак не мог удовлетворить требования многочисленных почитателей таланта поэта-эпика. И речь идет не об отдельных недостатках, упущениях частного характера, а прежде всего о значительном обеднении и искажении авторской художественной идеи, философской концепции произведения. Удручает большое количество сокращений текста, вызванного тенденциозным подходом к авторскому замыслу, неглубоким постижением психологии главного героя поэмы и реалий белорусской действительности конца XIX ст., в условиях которой разворачивается действие.

В обобщенном виде основные претензии к переводчикам можно изложить в следующих пунктах.

1. В первую очередь рассмотрим купюры, связанные со стремлением избавить перевод поэмы от фрагментов, в которых Колас будто бы идеализировал собственника, хуторское хозяйство, сглаживал остроту классовых противоречий между крестьянином и паном, нерешительно изобличал мелкобуржуазные иллюзии героя. Например, из главы «Выборка мёду» было выброшено пятьдесят пять строк (153–207) — разговор Михала и Антося в гумне накануне приезда гостей. Вот некоторые выдержки из этого большого фрагмента. Вначале идет развернутое описание результатов упорного труда дружной крестьянской семьи:

«*Ў гумне мужчыны прыпыніліся.*
Ўсяго паўнютка, хвала Богу, —
Збажынкі новай і мурогу.
Здавалась, стрэхі і пярылы
Ўсяго трымаць не мелі сілы,
Бо з двух бакоў над самым токам,
Калі на іх ты кінеш вокам,
Сянцо, збажынка навісала» (1, С. 107).

Далее следует неторопливая, задушевная беседа, в которой братья излагают своё видение возможного выхода из сложившегося положения. Выход в том, чтобы приобрести собственный надел земли, стать её полноправным хозяином:

«*— У нас сяголета — свяціся!*
– Так, дзякуй Богу, паджыліся.

Эх, брат Міхась, была б то ўласнасць —
Зямля ўся гэта, сенажаці!..
Чаго б жадаць тут болей, браце?» (1, С. 107).

Эти и многие другие концептуального характера фрагменты были тщательно убраны из русскоязычного текста.

Переводчиком был также изъят ярко выписанный колоритный портрет одного из гостей, участников «выборки мёду»:

«Язэп прыехаў з Караліны.
Жахар заможны і выдатны.
Ва ўсім прыкладны, акуратны —
І ў гаспадарцы, і ў банкеце, —
Ў паноў быў нават на прымеце, —
Такі уважны і шляхетны,
Далёка ў воласці прыметны,
Хоць не шляхецкага ён роду,
Але падтрымліваў іх моду» (1, с. 110).

И здесь бдительный переводчик, конечно же, усмотрел идеализацию крестьянина, который собственным трудом выбился в число зажиточных хозяев, стал «паном», почитаемым волостным начальством. А положительная оценка автором жены хуторянина, тем более дворянского происхождения, только усиливала негативное к нему отношение со стороны переводчика.

Глава «Зима в Поречье» при переводе лишилась развернутого описания внешнего облика Михала (строки 139–152) (*«І ў палясоўшчыцкім ён чыне // Дапраўды, змахвае на пана!»* — т. е., в форменной одежде герой действительно был похож на пана). В сцене беседы Михала с женой после его столкновения с новым лесничим Рачковским есть следующее высказывание оскорблённого, униженного лесника:

«Прагоніць вон — хай праганяе,
А служба знойдзецца такая:
Мяне сам князь у замку знае» (1, С. 85).

Как и следовало ожидать, в русскоязычный текст поэмы эти строки не попали, ибо они, если руководствоваться классовым подходом, классовой оценкой, утверждали в читательском сознании идеологически вредную, глубоко ошибочную мысль: дескать, не

эксплуататорская система виновата в бедах и несчастьях трудового человека, а плохие слуги системы. А это уже, извините, либеральное просветительство, а не революционный демократизм с его идеей необходимости насильственного разрушения существующего строя.

На протяжении всей поэмы из текста вычеркивались даже отдельные строчки, если в них в положительном плане упоминался хутор (*«Ці хутарочак пападзецца, // Ну, як знаёмы, усміхнецца»* [1, С. 227]; *«Там хутаркі, ды ўсё з садамі»* [1, С. 233]). Проигнорировал переводчик и остроумно поданную сцену щедрого угощения в хате Федоса Хадыки, у которого Михал хочет купить земельный надел (*«А на стале — скаварадзішча, // І скваркі правяць там ігрышча»* [1, С. 234]). Воссоздавая сцену, где Михал вместе с братом Антосем пытаются немного сбить цену за Хадыкову волоку земли, переводчик не привёл сумму — 3000 рублей, и это вполне объяснимо: если бы такая значительная для дореволюционного периода сумма была озвучена, то исходная установка переводчиков характеризовать материально-хозяйственное положение героя поэмы, а через него и всего белорусского крестьянства, как крайне бедственное, нищенское, выглядело бы неубедительно. Вот и вынуждены были переводчики идти на сокращение текста поэмы, убирая из неё фрагменты, не укладывающиеся в их упрощенные, социологизированные представления. В результате подобных сокращений оригинала была нарушена логика авторской мысли, обеднена идейно-художественная концепция произведения. Согласно трактовке переводчиков, герой поэмы конфликтует с паном только потому, что он беден. В действительности же, как это следует из содержания поэмы, причиной их противостояния была не бедность, а бесправное положение крестьянина. Борьба героя поэмы за свободу, за человеческое достоинство, за уважение к личности, за право иметь собственный надел земли и быть на этой земле хозяином – в этом ведущий мотив поэмы Якуба Коласа, её идейно-художественный пафос. В тексте перевода он еле просматривается, а это и есть существенное обеднение текста, неизбежно ведущее к искажению смысла произведения.

2. Значительно обеднен русскоязычный текст «Новой земли» негативным отношением переводчиков к религии. Буквально каж-

дый фрагмент, где герои поэмы отмечают религиозный праздник или где воссоздана церковная служба, старательно отредактирован, вплоть до случаев бесцеремонного вмешательства в авторский текст с целью приписать Коласу или действующим лицам поэмы мысли, высказывания, коих у них не было и не могло быть в принципе. Классическим примером неуемного стремления переводчиков изменить подлинное отношение героев «Новой земли» к религии может служить следующий фрагмент из главы «Пасха». Мальчишка Костусь вместе с отцом едет в церковь. Даже природа «*паважнасць свята адчувае*», и Костусю кажется, «*што й дарога цяпер паслушна волі Бога...*» [1, С. 200]. Переводчик предпочел дать свой, идеологически чёткий, «улучшенный» вариант: «*И даже, кажется, дорога ровнее сделалась немного*» [2, С. 330]. Как видим, разговор с духовного плана переведен в чисто бытовой! У Коласа речь шла о могуществе Всевышнего, как его понимал пытливый, внутренне развитой, душевно тонкий мальчик: даже дорога, по которой едут верующие в храм Господень в честь великого праздника, подчиняется его безграничной воле. Эту глубокую мысль, очень важную для понимания авторской морально-этической позиции и трактовки образов главных героев поэмы, переводчик заменил удручающей банальностью: по ровной дороге на повозке ехать удобней, приятней, нежели по ухабистой. Комментарии здесь, думается, излишни.

А вот сцена, когда Михал, направляясь в церковь к исповеди, заехал к своему родственнику Карусю Диваку. В оригинале: Карусь «*ніяк не мог стрымацца, // Каб з печы жартам не азвацца, // Абы хто ў хаце аказаўся...*» [1, С. 201–202]. В переводном тексте мы обнаруживаем совершенно иную трактовку поведения Каруся, который, оказывается, «*не мог сдержаться, // Чтоб шуткою не отозваться // На счет Иисуса и святых... // И хохотал за пятерых*» [2, С. 332]. Но, как следует из содержания поэмы, брат жены Михала вовсе не собирался высмсивать «Иисуса и святых», его веселый, беззаботный смех имел совсем иного адресата — любого посетителя хаты. Переводчик — и читатель в этом убедился — к сожалению, стал на путь недопустимого вмешательства в авторский текст, т. е. на путь его искажения.

Явная предвзятость видна и при воссоздании на русском языке авторского описания церкви, церковной службы. Определения «*цэрква, макаўка святая*», «*блескам ззяе*» были опущены. А вот нейтральная констатация того, что во время богослужения в церкви «*народу поўна*», в переводе подано с явным намерением поставить акцент на неудобствах, которые якобы испытывали в церкви верующие: там всё «*забито так, что нет проходу*». Но это надуманные сетования, их в произведении Коласа нет. Напротив, авторские описания передают ощущение праздника, торжественности: «*Кабеты, дзеўкі, маладзіцы // Ідуць–плывуць да плашчаніцы // У хустках белых і чырвоных*» [1, С. 202]. Как видим, есть место всем, кто пришёл в церковь, есть и стремление прихожан выразить Всевышнему чувства благоговения. К сожалению, это настроение сельчан в переводе утрачено. И традиционная для белорусов цветовая гамма, сочетание белого и красного, также не попала в поле зрения переводчика. Последний, отбрасывая красочные, содержательные в смысловом отношении, богатые на ассоциации и подтекст авторские описания, предлагал собственные варианты, часто невыразительные. Сравним: «*Сярод царкоўкі плашчаніца // Стаіць між ёлачак зялёных*» [1, С. 202] и «*В зеленых елках плащаница, // Дрожащий свет свечой струится*» [2, С. 332]. Попробуй разберись, как это свет может струиться «свечой»? Причем здесь творительный падеж?

Избавляясь от «идейно невыдержанных» описаний пасхальных торжеств, переводчик, естественно, нарушал творческую волю автора, обеднял содержание поэмы. Вот еще один из фрагментов, не попавших в русскоязычный текст:

«*Народ калышацца, хвалюе.*
Бы ў цёмным віры вада тая.
І ўсё плыве, ўсё прыбывае,
А ўлады сну ён больш не чуе,
І блізак час святой дзянніцы.
"Хрыстос васкрос!" – з гары-званіцы
Вяшчае першы звон шчасліва.
Народ увесь, бы ў полі ніва
Буйнымі гнецца каласамі,

Скланіўшы ціха галавамі» [1, С. 202–203].

Освобождая поэму от присущих её героям «религиозных суеверий», от «религиозного дурмана», переводчик, конечно же, не мог выбросить все нежелательные сцены, эпизоды. В таких случаях успешно использовался метод тщательной прополки. В результате даже там, где общие очертания события сохранены, тональность обрисовки оказывалась иной, нежели в оригинале. Вот, к примеру, сцена, где «бацька-поп» приступает к освящению «пасхальных даров». Здесь вместо нейтральной лексики вводилась сниженная. Было: «*нясуць жанкі, нясуць мужчыны*». Стало: «*Все скопом – женщины, мужчины*». Было: «*І ставяць ў рад на цвінтары*» [1, С. 203]. Стало: «*На паперть потащили дружно*» [2, С. 333]. Совершенно очевидно, что и «тащить» пасхальные дары, и нести их «скопом» здесь совершенно неуместны, они чужеродные интонационному, стилевому строю той ситуации, которую воссоздал Якуб Колас. Добавим, что и «бацька-поп» лишен уважительной характеристики, он уже просто «поп».

Есть смысл целиком привести отрывок, который с полным правом можно назвать гимном пасхальному столу. Но и этот фрагмент опущен переводчиком, так как его взгляд на уровень материального благосостояния героев «Новой земли» не совпадал со взглядом автора поэмы.

«А на стале тым — рай ды годзе,
Што рэдка трапіцца ў народзе,
Ляжала шынка, як кадушка,
Румяна-белая пампушка,
Чырвона зверху, сакаўная.
Як бы агонь у ёй палае,
А ніз бялюткі, паркалёвы;
Кілбасы-скруткі, як падковы,
Між сцёган, сала і грудзінак
Красуе ўсмажаны падсвінак,
Чысцюткі, свежы і румяны,
Як бы паніч той надзіманы.
Муштарда, хрэн — адно дзяржыся,
У рот паложаш — сцеражыся!

А пірагі, як сонца, ззялі,
І ў роце бабкі раставалі.
Са смакам елі і багата —
На тое ж даў Бог людзям свята» [1, С. 205].

Подобного рода картины разрушали устаревшие стереотипы, устоявшиеся представления о том, что белорусский крестьянин будто бы вконец забитый бедностью, придавлен материальной нуждой. И его духовные горизонты также, дескать, узкие, ограниченные. Не выходят за черту повседневных забот о хлебе насущном. Переводчик, однако, не поверил автору поэмы, который якобы, нарисовал идиллию: видите ли, у крестьянина «*на стале тым — рай ды годзе*»! И то, что Колас материальное благосостояние крестьянина связывал с религиозным праздником («*Бог даў людзям свята*»), также вступило в противоречие с атеистическими взглядами переводчика, с его идеологическими установками. Но как же эти установки обескровливали произведение, лишали его философской глубины, красочности и многоголосия! В конечном итоге лиро-эпическая поэма становилась похожей на сухой социологический трактат на тему горестной, беспросветной жизни трудящихся в дореволюционную эпоху.

Негативный результат мы видим и в переводе сцены празднования Коляды. От развернутого обращения Михала к членам семьи, где звучали пожелания: «*Няхай дае Бог лад у хаце, // Дабра, прыбытку прыспарае*»; «*За год дай Божа дачакаць // Здаровым новы год спаткаць*» [1, С. 173–174] остались лишь «рожки да ножки» – несколько коротких строчек, по смыслу далёких от оригинала: «*Ну что ж, Антось, здоров будь, брате! За мир, за счастье в нашей хате*» [2, С. 306]. А ведь безжалостно сокращённый фрагмент точно воспроизводил бытовую, психологическую атмосферу, господствовавшую в хате лесника, а в пожеланиях Михала изложен весь комплекс морально-этических представлений трудового крестьянина. Надежды на щедрый урожай в поле, на прибыль в стойле, на крепкое здоровье детей и взрослых хозяин связывал с Божьей волей. Сокращая же отрывок, переводчик откровенно «улучшал» поэму, «приподнимал» образ главного героя, которому в авторской трак-

товке, дескать, были свойственны отсталые, патриархальные взгляды, вера в Бога.

3. Якуб Колас — непревзойденный художник-пейзажист. Восприятие природы как живого, одухотворенного явления с исчерпывающей полнотой раскрылось и в поэме «Новая земля». Природа у Коласа — многоликая, мудрая, загадочно-таинственная. Она всегда в движении, одновременно и привычно-знакомая и на удивление новая. Как подлинная энциклопедия народной жизни, «Новая земля» вместе с тем и энциклопедия белорусской природы. И здесь при воссоздании мира природы переводчики также оказались не на уровне высоких профессиональных требований, не сумели близко к оригиналу передать богатство, неповторимую красоту белорусской природы, раскрыть перед русскоязычным читателем её своеобразие. Многие красочные поэтические описания поданы в сокращенном виде. Особенно большие потери понесла глава «Летней порой». Стремление Коласа-пейзажиста подняться на уровень философского обобщения, связать картины природы с жизнью человека, подчеркнуть мысль о быстротечности жизни не нашло надлежащей поддержки со стороны переводчиков. Так, например, в отрывке:

«*Глядзіць пакоша-луг гаротна,*
На сэрцы робіцца маркотна,
Эх, лета-лецейка любое,
Ты адцвітаеш, залатое!..
I так паволі, неўзаметкі
I нашы звянуць жыцця кветкі» [1, С. 215] —

две последние, насыщенные глубоким смыслом строки, опущены, что, естественно, обеднило общее звучание данного фрагмента. Такой же несчастливой оказалась и судьба двух двенадцатистрочных отрывков «*Яшчэ не раз у час жніва*» [1, С. 215] и «*Усход жыве, гарыць, палае*» [1, С. 219]. Из каждого из них в переводной текст попало ровно по четыре строки, которые, однако, звучат невыразительно, декларативно. Вырванные из контекста, они лишены поэтической энергии. Сопоставим текст оригинала с переводом.

«*Усход жыве, гарыць, палае,*
Слупы-праменні падымае,

Бы тыя рукі блаславення
У часе шчырага малення.
І вось яна, жыцця крыніца,
Сама багіня-чараўніца,
Ўзышла на небе і міргнула,
Расу ў брыльянты абярнула,
Глядзіць прыветна, усіх кахае,
Па свеце стрэлы рассыпае
І песціць шчыра ўсіх, як матка...
Хіба забудзеш міг той, братка?» (1, С. 219).

А вот результат переводческой деятельности:

«*Восток живет, горит, пылает,*
Столбы лучей своих вздымает,
Как матерь, нежит всё вокруг.
Но, как забудешь это, друг!» [2, С. 346].

Откровенно говоря, непонятно, чем же здесь восхищаться, поскольку исчез, испарился под утренними лучами предмет восхищения! В поэме читатель действительно поражен описанием красоты летнего утра, богатством, яркостью красок, свежестью чувств, выраженных поэтом. Там солнечные столбы-лучи естественно вызывали ассоциации с поднятыми ввысь руками «*у часе шчырага малення*», а ослепительный солнечный круг напоминал сказочную «*багіню-чараўніцу*». И поэтому читатель мог почувствовать силу воздействия жизнетворящей богини («*І вось яна, жыцця крыніца*»), способной в одно мгновение превратить утреннюю росу в бриллианты и всех приласкать, нежно приголубить, словно родная мать («*Глядзіць прыветна, ўсіх кахае*»). Вот почему так естественно прозвучал заключительный аккорд величественного хорала в честь солнца и нового дня. И авторское обращение в форме вопроса — «*Хіба забудзеш міг той, братка?*» — не воспринимается как напыщенная риторика, ибо оно было гармоническим завершением развития поэтической мысли автора. Переводчик же предложил нам дешевую ремесленническую поделку, примитивный эрзац.

В урезанном виде представлены также некоторые авторские лирические отступления. А между тем, они играют огромную роль в раскрытии личностного начала, в углублении авторской философ-

ской концепции «Новой земли» как программного произведения всей белорусской литературы. Так, двадцать четыре строки выброшены из вступительного фрагмента к главе «По дороге в Вильно». Обращаясь к дорогам, судьбы которых предопределены высшими силами, поэт говорит:

«Няма канца вам, ні супыну;
Вы жывы кожную часіну,
То задуменны, смутна строгі,
Як след захованай трывогі,
То поўны чараў спадзявання,
То страхаў цёмнага знікання,
Калі душа свой лёс прачуе,
І ноч нябыту зацянюе...» [1, С. 236].

Исчезновение этого и некоторых других отрывков негативно отразилось на содержании всей главы, которой предпослано лирическое отступление, так как приведенный фрагмент придавал поездке дядьки Антося более глубокий смысл, нежели намерения взять в банке разрешение на право приобрести волоку земли. Здесь отчётливо прозвучал мотив непостижимости человеческих судеб, мотив драматизма жизни человека. И все это невольно соотносилось с судьбами героев поэмы.

Не найдёт русскоязычный читатель поэмы и искренних, доверительных признаний, автобиографических сведений Якуба Коласа в последней главе:

«Ды ноч міналася памалу
Ў агульным жыцця правалу,
А там дарога, зноў дарога.
Разлука з краем і трывога
І паднявольнае блуканне
І гэта нуднае змаганне
За інтарэсы жывата,
Ды зноў варожая пята...» [1, С. 266].

Ценность подобного рода признаний в том, что они помогают составить более чёткое представление о тех условиях, в которых жил поэт и в которых создавались отдельные главы «Новой земли».

4. К сожалению, приходится говорить и о том, что переводчики проявили недостаточное знание реалий белорусского быта, нравов, обычаев, ментальности белоруса. Сошлёмся на сцену празднования Пасхи в доме Михала. Строки

«*І пайшла чарка з рук у рукі,*
Пілі ўсе гладка, без прынукі,
Малым паспрабаваць далі,
Каб весялейшыя былі» [1, С. 205]

в переводе звучат так:

«*Детишек тоже не забыли*
И им по маленькой налили.
Ну, будьте, хлопцы, молодцами!
Растите вольными орлами!» [2, С. 334].

Отметим сразу: не наливал Михал чарку детям, не приобщал их к «культурному питию». Не было такого обычая в семье лесника. Выражение «*пілі ўсе гладка*» к детям не имеет никакого отношения. Автор поэмы даже не считал нужным делать здесь оговорку: ему и в голову не приходило уравнивать взрослых и неполнолетних в «питии». «*Малым паспрабаваць далі*» означает лишь то, что ребятишки прикоснулись губами к тому, что вмещалось в «*прынадной бутэльцы*». Непонятно и то, почему Михал обращается исключительно к «*хлопцам*», когда в семье было также «*тры дзяўчаці*». Да и ассоциация с «*вольными орлами*» не вписывается в образную систему поэмы.

Невнимательное отношение переводчиков к реалиям деревенской жизни можно видеть и в следующем фрагменте. У Коласа:

«... *Жней чародкі*
Ідуць паважна, як лябёдкі,
У хустках лёгкіх, кофты белы.
Іх рукі дужа загарэлы» [1, С. 216].

В переводном тексте читаем:

«*Как лебеди, проходят жницы*
В платочках лёгких, в кофтах белых;
Их руки, ноги загорелы» [2, С. 344].

Излишне было бы начинать разговор о том, что деревенские женщины, идя в поле, не одевали мини-юбки. Напротив, юбка была длинная, а потому ноги — в отличие от рук — не могли быть загорелыми. Да и поэт говорит о головных уборах и верхней части одежды, поэтому логично упоминание лишь о загорелых руках. Переводчику оставалось лишь сохранить точность оригинала.

К сожалению, подобного рода досадных неточностей в русскоязычном тексте много. Фактически — они на каждой странице. И привести хотя бы их малую толику из-за ограниченности места не представляется возможным. Поэтому — лишь единичные примеры. Михал «*только отобедал, предался вновь мечтам чудесным*» [2, С. 175]. Какой же это «*обед*», если действие происходит поздним воскресным утром: (глава «За столом», начало главы: «*Ну*, завтракать давайте будем» [2, С. 171]? В оригинале: «*І ўся зямля ў адным адрубу; // І лес там ёсць, найболей дубу*» [1, С. 26–27]. В переводе: «Усадьба — с добрым старым садом. // И лес, к примеру, тоже рядом» (2, С. 176). Непонятно, откуда взялся «*добрый старый сад*»? Не старинную дворянскую усадьбу собирался купить герой поэмы, а новую землю. У Якуба Коласа: «*Не клапаціўся б там а хлебе...*» [1, С. 27]. Перевод: «*Там не придется бить поклоны — // Просить весной у пана жита*» [2, С. 176]. Мотив возможного обращения Михала к пану с просьбою одолжить зерна, чтобы было чем засеять полоску земли, внесён переводчиком в поэму непродуманно: такой мотив звучит в ранних стихотворениях Коласа («Асадзі назад!» (1908 г.): «Дай старшынька, ссуды» (Т. 1. С. 72), но для периода, когда создавалась «Новая земля», он был уже пройденным этапом: не надеждой на панскую доброту руководствовался герой, у него были совсем иные стимулы действия. Переводчик эти стимулы не учел. И употребленное им слово «*сытый*», хотя оно и поставлено рядом со словом «*свободный*» («*Там ты свободным станешь, сытым*» [2, С. 176]), также засвидетельствовало узость взгляда переводчика, упрощенное понимание им писательской концепции: не идея «*быть сытым*» вдохновляла героя поэмы, а стремление стать независимым. Главным было страстное, всепоглощающее желание стать хозяином собственной судьбы.

Вряд ли можно считать удачной и обрисовку поведения Михала за столом в следующей ситуации. В оригинале: «*І бацька кідае відэльцы, // Рукою гладзіць па камзэльцы*» [1, С. 24]. Перевод: «*Но вот и батька отвалился...*» [2, С. 174]. Разговорно-бытовое выражение снижает торжественность момента, ибо после сосредоточенного молчания Михал и Антось начнут серьёзный разговор о наболелом — о земле. Жаль, что переводчик не уловил глубинной связи всех образно-изобразительных компонентов авторского повествования и непродуманной лексической заменой разрушил интонационно-смысловое единство, внёс диссонансную ноту.

Не могут не вызвать иронической улыбки «*стада кузнечиков весёлых*», что скачут «*на прогалинках на голых*» [2, С. 170]. В оригинале никаких стад нет и в помине, там речь идет о «*гулянні конікаў вясёлых*» [1, С. 20], т. е. кузнечиков. Ещё один пример нетребовательного подхода переводчика: «*Кадушки, вёдра у забора... приютились, // А возле них горшки толпились*» [2, С. 190]. Как могут «толпиться» неодушевленные предметы хозяйственного назначения? В оригинале дано точное, определение: «*гаршкі туліліcь*».

В ряде случаев переводчики не справились с непростой формой выражения авторской поэтической мысли и предложили вариант, не проясняющий, а напротив, затемняющий смысл высказанного. В поэме:

«*І песні тыя засмучоны*
І млеюць ў стомленым абшары,
Як бы адбітак Божай кары» [1, С. 210].

Перевод этих строк звучит так:

«*Вдруг песня*
И грустно тает в знойном поле,
Звуча укором Божьей воле» [2, С. 336].

Выходит, что в песнях девчат звучал «укор», но кому? «Божьей воле»? Но мысль Коласа совершенно иная: Всевышний наказывает людей за их грехи, и в грустной песне укор Господень слышен очень четко.

Стоит сравнить оригинал и перевод ещё одного фрагмента:

«*Трасецца-ходзіць луг, бы вір,*

Бы той кацёл у час кіпення. —
Ўсё поўна руху і імкнення» [1, С. 212].

«*Трепещет-ходит луг, как вир*
Иль как котел смолы кипящей,
Злорадно плещущий, бурлящий» [2, С. 340].

В данном сравнении замена традиционного котла с водой «*у час кіпення*» котлом, где кипит смола, неудачна во всех отношениях. «*Смола*» тут явно чужеродная, не вписывается в стилевой контекст фрагмента: ничего «*злорадного*» в поведении косцов, которых внезапно захватил дождь и которые дружно бросились на помощь женщинам, не было.

При чтении переводного текста нередко складывается впечатление, будто он принадлежит городскому жителю, имеющему весьма смутное представление о косьбе. В оригинале: «*Ідуць грабцы, жанкі, дзяўчаты*» [1, С. 210]. Перевод: «*Девчата с вилами, с граблями*» [2, С. 338]. Когда трава только скошена, девчатам «*с вилами*» делать нечего: траву надо разбросать, чтобы она подсохла. И для этого как раз и предназначены грабли. А вилы понадобятся позже, когда высушенную траву — сено — начнут копнить, складывать в копна! О том, что в приведенном примере не было случайной оплошности, свидетельствует и еще один фрагмент. У Коласа читаем: «*Жанкі, дзяўчаты і мужчыны // Бягуць пад копы, пад драбіны*» [1, С. 213]. Вариант переводчика: «*Мужчины, женщины бегом // Спешат к стогам, зарыться в сене*» [2, С. 341]. Переводчику, как видим, невдомек: складывать стога в тот день, когда трава скошена, невозможно. Эти действия противоречат здравому смыслу. Обращают на себя внимание и мелкие детали: как можно «*зарыться в сене*», если стог уже сложен, т.е. приготовлен к зиме? И среди тех, кто убегал от дождя «*пад копы, пад драбіны*», автор поэмы, как это и соответствовало народной этике, первым называет женщин, девчат, а затем уже мужчин. У переводчика все с точностью наоборот!

При наличии большого количества переводчиков трудно было сохранить и содержательную и стилевую целостность поэмы «Новая земля», ибо каждый из «соавторов» Якуба Коласа придерживался определенной ориентации, у каждого были свои требования к

белорусскому поэту. Так, например, П. Родимов был особенно нетерпим к религиозным мотивам поэмы, С. Городецкий требовал чёткого классового подхода к оценке отображенных явлений. И лишь у П. Семынина преобладал эстетический подход, стремление передать дух оригинала. Ведь не случайно Якуб Колас так высоко отзывался о Петре Андреевиче, о его человеческих и профессиональных качествах. Почитатели таланта Якуба Коласа не одно десятилетие лелеют мечту о том, что им в конце концов повезет, и за перевод классического произведения белорусского поэта возьмется один автор!

Даже из этого краткого изложения несовершенство нынешнего перевода очевидно. Необходим качественно новый перевод — полный, лишенный купюр, сокращений и произвольной трактовки авторского текста. В новом переводе необходимо учитывать авторский замысел, авторское видение мира. Естественно, позиция переводчика должна быть творческой, нельзя требовать от переводчика буквального перевода, ибо такой перевод не может раскрыть всю глубину и неповторимую красоту оригинала.

Автор «Новой земли» осознавал художественное значение поэмы как явления культуры, осознавал масштабность замысла и уровень его художественного воплощения. Вот почему он счёл возможным в июле 1948 г. обратиться к главному редактору издательства «Советский писатель» Петру Чагину с письмом, в котором есть следующие высказывания относительно «Новой земли»: «Считаю, что славянскими народами будет с интересом прочитана эта поэма. Она — основная поэма во всем моем поэтическом творчестве». И это действительно так: самобытный талант Якуба Коласа, философия его творчества, эстетическое кредо, художническая концепция жизни наиболее полно и ярко проявились в этом произведении. «Новая земля» в своем содержании, в неповторимых образах аккумулировала все лучшее, что смогла выработать белорусская литература за многие столетия. И вместе с тем она продемонстрировала качественно новый уровень развития художественного сознания, духовной культуры белорусского народа.

Продолжая лучшие традиции прошлых десятилетий, учёные Беларуси сегодня активно исследуют и пропагандируют русскую ли-

тературу, о чём свидетельствуют, в частности, регулярные конференции, проводимые кафедрами русской литературы во всех без исключения вузах республики (Минск, Брест, Гродно, Гомель, Витебск, Могилев), довольно многочисленные защиты кандидатских и докторских диссертаций, а также издание лучших произведений русской классики и современных писателей. Например, Белорусский Фонд культуры недавно выпустил в прекрасном оформлении роман «Евгений Онегин».

Новый перевод классической поэмы «Новая земля», несомненно, активизирует интерес к белорусской литературе в среде русскоязычных читателей и послужит делу дальнейшего укрепления дружбы двух народов.

Литература

1. *Колас Я.* Збор твораў. У 14 тт. Т. 6. Мінск, 1974.
2. *Колас Я.* Собрание сочинений. В 4 тт. Т. 1. Москва, 1982.

Ю.А. Лабынцев (Москва)

Западнобелорусская беженская мемуаристика о судьбе революционной России

Интереснейшая, в большинстве своем все еще остающаяся в рукописи беженская мемуаристика периода Первой мировой войны — огромное благодарное поле для исследователей. В своей статье мы старались привлечь внимание к этому уникальному разноязычному материалу прежде всего литературоведов, культурологов и исследователей национального самосознания, занимающихся белорусоведческой проблематикой и русско-белорусскими и белорусско-русскими взаимосвязями самого широкого плана…

Согнанные с мест своего постоянного проживания на западных окраинах Российской империи военной стихией в середине 1915 г. сотни тысяч белорусских крестьян, мещан, священников вынуждены были срочно мигрировать в основном в центральные, восточные и южные губернии России. После тяжелейшей дороги, в которой погибли по причине различных болезней тысячи беженцев, преимущественно крестьян, в сознании которых на протяжении поколений весь этот путь виделся как нечто ужасное, трагическое для отдельной семьи и всего народа, изгнанники оказались вначале в относительно благополучной обстановке, казавшейся некоторым из них почти идеальной, а затем испытали горькое разочарование от тотальной анархии в России революционного времени. Российская революция стала и для них огромным испытанием, привела к пониманию своей национальной особенности, отличности от великорусского этноса, в среде которого все же многие из них остались жить, сроднились с ним, образовали смешанные по национальному составу семьи. Наконец, революционная пора стала временем гигантских человеческих потерь среди беженцев, моментом этнонациональной

консолидации и создания различного рода общественных организаций, осознания необходимости возвращения на родину во что бы то ни стало. Последнее удалось осуществить далеко не сразу — возвращение длилось несколько лет, начиная с 1918 г., и коснулось оно далеко не всех. Опыт беженства явился для белорусов одним из самых значимых за всю их историю, полным тяжелейших испытаний, потерь и, как следствие, началом колоссального, почти взрывного, массового этносоциального прозрения, разновекторный характер которого в основных своих воплощениях был заметен в течение всего XX столетия.

Описывая первые годы войны в России, почти все белорусские беженцы пишут о необычайном богатстве многонациональной империи к востоку, юго–востоку и северо–востоку от их родины, богатстве городов, сел и простых жителей, с которыми они соприкоснулись там [1]. Практически все отмечают необычайную отзывчивость, приветливость и даже жертвенность русских, чувашей, татар, украинцев и других народов Российской империи, среди которых беженцам теперь предстояло жить. Вот одно из таких признаний, сделанное крестьянкой из деревни Залуки, что на Белосточчине, М. Лисовской 1901 г. рождения: «Из Залук в беженство подались все. Только что заехали мы к Городку, а деревня наша уже горела. Дальше мы поехали в Минск. Там нужно было решить, куда мы хотим переселяться. Наша семья выбрала Самарскую губернию. Вместе с нами поехало еще пять семей. Люди из Залук разъехались по всей России. Кто на Украину, кто в Сибирь, а кто на Смоленщину. В Минске мы продали коня с фурманкой, сели на поезд и поехали в неизвестный мир. На место добрались аж на Покров. Высадили нас за Волгой, в селе Кинель–Черкасы. За нами приехали крестьяне на подводах. Сразу же мы получили жилье. Жили мы в отдельном доме, так как у хозяина, что нас принял, было аж два дома. Нашлась и работа. Кто хотел, шел работать у хозяина.

Ах, какие там люди были добрые! Таких людей, как русские, так и вспоминать приятно. Как же они нас жалели, как переживали из-за нашего горя: «А страдающий вы народ, а беженцы вы несчастные!» — повторяли они все время. Знаете, как только мы вошли в село, к нам подбежали женщины с плачем. Одна молодица сняла с

себя дорогой платок и накинула мне на плечи. Люди понаносили нам всего, что только нужно для жизни.

Богато там люди жили. Хозяйства они имели хорошие, земля сама, без удобрений, родила. Там даже не рожь сеяли, а пшеницу. Три раза в неделю пекли пшеничные булки. Варили все время русский чай в самоваре и пили его «вприкуску» - сахар отдельно в рот откусовали, чайком горьким запивали. Кто бы в дом не вошел, того всегда приглашали: «Садитесь к нам чайку попить». Водки они не пили. Нигде так не было, как теперь стало. Тогда пьяных никто не видел. Тамошние люди имели богатые хозяйства, а кур и не сосчитать. У каждого хозяина было зерно в запасе. Хранили его в высоких амбарах, так как зимою снег засыпал все заборы и низкие строения... В селе было 3 церкви, базар, пожарное депо, школа. Два мои брата ходили в школу. К старшему русские приходили за помощью в обучении. Базар в нашем селе был известен на всю округу. Купцы к нам приезжали аж за сорок километров. А у нас было за что купить, так как хозяин за работу платил, а еду давал даром. В селе люди уважали религию, народ был весьма набожный, церковный. Там, как шли к исповеди, то готовиться нужно было начинать со среды. В пятницу исповедывались, в субботу — причастие. В воскресенье также нужно было быть в церкви...

По-русски говорить мы не умели. У нас в Залуках перед беженством здороваясь говорили «нех бэндзе похвалёны», а там в каждое время иначе здоровались. Но русский язык не немецкий, быстро мы его научились. Даже, когда приехали на родину, то трудно было привыкать к польскому языку. Между собой мы говорили по-нашему» [2]. Правда, так было не со всеми... Как писал в своей рукописной автобиографии Тихон Трохимюк, родившийся в с. Клейниках Гродненской губернии в 1899 г., его, выпускника местного двухклассного училища, после начала войны судьба забросила вместе с родителями в степное Заволжье: «Работал я у хозяина два года. Летом на поле, а зимой в конюшне, не было у меня и одного свободного дня. В праздники молодежь выходила на улицу, играет гармонь, поют веселые песни, а мне с восходом солнца выводить на речку коней, и я их там пасу целый день. Зимой собираются в хатах и также играют, танцуют, а я работаю в конюшне. Мо-

лодежь там очень веселая. Они и меня приглашают и мне хочется погулять с ними, мне уже 18 лет. Хозяин мой был лет под пятьдесят, здоровый, но был суровый и нервный. Часто приходил зимой в конюшню и придирался ко мне: «Не вижу порядка, кони плохо вычищены». Два раза побил меня нагайкой...». Впрочем, такие случаи были скорее редким исключением.

С началом революции все изменилось.

«Когда настала революция, тяжело было с едой и одеждой — липовые листья ели... В 1919 году от голода умер наш отец...». «Учился только один год, так как когда после революции настали Ленин и Троцкий — перестали учить...». «Началась революция. Настал тяжелый 1917 год...». «Во время революции наше село переходило из рук в руки. В нашей окрестности организовалась «зимняя армия» из местных жителей. Она выступала против коммунистов... В 1918 году подошла Красная Армия и разогнала бунтовщиков. После революции настала голодовка. У местных жителей красные забирали скот и зерно. Мы решили возвращаться домой...». Таково содержание абсолютно всех повествований беженцев-белорусов, оказавшихся в сельских районах к востоку от их родины. Не менее, а в чем-то даже более драматичны и трагичны воспоминания тех из них, кто оказался в городах. Андрей Иванюк, родившийся в 1908 г. в Санкт-Петербурге в семье белоруса-отходника, а затем в четырехлетнем возрасте возвратившийся вместе с родителями на их родину, откуда они с односельчанами «подались в беженство», в конце концов оказался в Москве: «В 1917 году разразилась революция. Люди пели:

Была у нас царица
Вильгельма сестрица
Вильгельма родная сестра
Она все полками войска продавала
В Германию хлеб отдала.
Россия уж гибнет
Она проиграла
Она проиграла войну,
Скадронное знамя

В войну потеряла
А сам полководец в плену.

Жизнь усложнялась — был холод и голод. Получали мы пайки, но очень маленькие... и бывало так, что отец собирал мерзлых ворон, а мама их готовила. У меня были дополнительные карманы, в которые я прятал кусочки хлеба... За три месяца от взрыва революции царские чиновники покинули Кремль. В Кремле был белый дом, куда приезжал царь; там стояли царские кадеты. Когда большевики туда ворвались, то выкинули их из окон. В кадетов, что ехали по Тверской улице от Кремля до Александровского вокзала, большевики из пулеметов стреляли...» [3].

Очснь по разному складывалась жизнь белорусских беженцев. Многие из них оказались в самой гуще революционных событий, служили в Красной (чаще) и в Белой (много реже) армиях. Были среди них те, кто стали впоследствии видными политическими деятелями в Советской России, в Советской Белоруссии или же в кругу противников этих образований, например, среди наиболее заметных фигур в руководстве Белорусской Народной Республики.

Накал политических страстей коснулся и деятелей Церкви и околоцерковной мирской беженской среды уже в первые месяцы революции. Об этом белорусские очевидцы-беженцы, священники и миряне, оставили немало воспоминаний. Одни из самых интересных и обширных принадлежат известному западнобелорусскому национальному деятелю, будущему сенатору II Речи Посполитой Вячеславу Богдановичу [4], фрагмент которых на белорусском языке мы публикуем по рукописному списку, обнаруженному нами на белорусско-польском пограничье во время наших экспедиционных исследований. Фрагмент этот касается одного из эпизодов, связанных в работой Московского Церковного Собора 1917–1918 гг.

*　　*
*

«Царкоўная працэсія, урачыстае багаслужэньне і тое гарачае ўчасьцьце, якое ўва ўсім гэтым прыняў увесь Маскоўскі праваслаўны народ, пераканала бальшавіцкую уладу ў тым, што

народ моцна трымаецца сваей Царквы і свасй веры і што ў гэтым пункце яго ня возьмеш адразу, простай атакай. Дзеля гэтага яны парашылі пачаць павольную падгатаваўчую працу, каб адцягнуць народ ад царквы. Яны часова спынілі простыя ўціскі царквы, а ўсюды па Маскве сталі арганізоўваць процірэлігійныя мітынгі. На адным такім мітынгу прышлося быць і мне. Аб гэтым мітынгу ў мяне дасюль захаваліся запіскі, зробленыя тагды «на сьвежую памяць», дзеля чаго я магу перадаць больш ці меньш падробна тое, што я там бачыў.

Пачуўшы аб адным такім мітынгу на Замаскварэччу, некалькі сяброў Сабора, у тым ліку пратаіерэй Бекарэвіч і я, рашылі пайсьці і паслухаць, а калі можна будзе, дык і выступіць на мітынгу.

Мітынг ішоў пад назовам «Царква і бальшавікі». Пачаўся ён прамовай Е. Яраслаўскага, вядомага працівацаркоўнага бальшавіцкага дзеяча. Прамова яго галоўным чынам складалася з розных нападкаў не на веру і царкву, а на духавенства.

«Нашы папы, — гаварыў ён, — жадныя, карысталюбивыя. Іх бог, казаў ён, даўно ўжо не на небе, а на зямле. Ён знаходзіцца ў банках і ў «зьберэгацельных касах», у працэнтовых паперах, у купонах і г.д. Яны ходзяць у дарагіх царкоўных адзежах, у залатых крыжох і залатых шапках (у мітрах), у рызах і раскошных мантыях».

«Яны ўвесь час маўчалі, ім ня дорага была іхняя вера, а вось цяпер, калі зачапілі іх матэрыяльны дабрабыт, калі адбіраюць іхнае дабро, дык яны адразу і спалохаліся і робяць цяпер пратэсты проці сьвецкай улады. Ім мала таго «жалаваньня», якое яны атрымліваюць, той зямлі, якой яны ўладаюць. А зямлі гэтай так многа, асабліва па манастырох: напрыклад у адным Салавецкім манастыры 70 000 дзесяцінаў зямлі. Духоўныя людзі толькі другіх вучаць цярпеньню і сьмірэньню і «безкарысьцьцю», а самі наадварот нічога гэтага ня робяць. Яны ня любяць бедных людзей, яны больш імкнуцца да багатых, з якімі дружаць і вядуць кампанію (тут Яраслаўскі прачытаў 23 главу ад Матфея, гдзе Хрыстос гавора прамову проці «кніжнікаў і фарысеяў»). Духавенства паўстае проці нас за тое, што баіцца за свае грошы, за сваю зямлю, а не паўстае проці таго, проці чаго павінна было-б гаварыць: проці прысягі, проці вайны, бо яны наадварот благаслаўляюць вайну, ня гледзючы, што

Хрыстос вучыў любіць ворагаў. Мы, бальшавікі, — казаў ён, — ня уціскаем рэлігіі, але мы паўстаем проціў яе за тое, што прадстаўнікі яе стаяць за багатых, а не за бедных, што яны кланяюцца «сільным міра», што яны завялі Распуціна пры царскім двары»...

Так і ў гэтым родзе гаварыў доўга Яраслаўскі. У такім напрамку падобнае гэтаму гаварылі і іншыя бальшавіцкія аратары. Саля спатыкала гэтыя прамовы воплескамі, але далёка не ўсіх: відаць было, што сярод сабраўшыхся далёка ня ўсе спачувалі таму, што гаварылі бальшавіцкія аратары. Відаць было, што Яраслаўскі заўважыў гэта, дзеля чаго гаварыў асьцярожна, каб не абразіць рэлігійнага пачуцьця, і, як я ужо казаў, нападаў выключна на духавенства, а не на веру.

Убачыўшы, што сярод слухачоў ёсьць сьвяшчэньнік (прат. Бекарэвіч), многія з іх прасілі бацюшку, каб ён выступіў з адказнай прадмовай. Падалі заяву старшыні мітынгу, і той, хоць ня дужа ахвотна, але заяву прыняў і гаварыць дазволіў.

Стары і з сівой барадой пратаіерэй Бекарэвіч узыйшоў на трыбуну і пачаў гаварыць, — уперад ня сьмела, паціху, пакуль бараніў духавенства, а пасьля, як стаў гаварыць аб веры і Царкве, — усе гарачэй і гарачэй. Гаварыў ён прыблізна гэтак:

«Тое што я буду гаварыць вам напэўна дужа многім не падабаецца, але усе-ж я думаю, што многім людзям, тут сабраўшымся, будзе карысна выслухаць прамову старого сьвяшчэнніка, бо і прыслоўе гаворыць, што «стары конь баразны не псуе».

Вось вы тут выслухалі больш за ўсё нападкаў на духавенства, у якіх можа і многа справядлівага, але-ж гэта адразу неправідловая пастаноўка справы. Няхай праўда тое, што духавснства дрэннае, што яно любіць грошы, што яно адхілілася ад народу, што яно наагул не стаіць на такой маральнай вышыні, на якой стаяць павінна... Які-жа з гэтага можна зрабіць вывад? Адмовіцца ад веры і Царквы? Не! Вывад той, што трэба замяніць дрэннае духавенства добрым, — такім, якое стала-б бліжэй да народа, якое ўзапраўды вучыла-б народ добраму, якое ня ганялася-б за грашыма, ня старалася-б выслужыцца перад сьвецкай уладай, — можа нават трэба зьмяніць увесь той царкоўны строй, які даў такое духавенства. Што духавенства ў нас ня адпавядае свайму ідэалу, — гэта вялікае гора Царквы, але

Царква дужа часта зусім непавінна ў гэтым, бо яна сама залежыла ад дзяржаўнай улады і сама ня мела ў сябе патрэбнай фізічнай сілы гэта зрабіць. Вось цяпер у Маскве больш паўгода працуе царкоўны Сабор, якога не было ўжо ў працягу 200 гадоў і гэты сабор як раз і выпрацоўвае такія правілы і царкоўныя законы, якія павінны зьмяніць папярэднія парадкі і між іншым палепшыць і духавенства. Але-ж з гэтага зусім ня выходзіць што з-за духавенства мы павінны траціць і вспу, і Царкву.

Аднак і тое што вы гаворыце аб духавенстве далёка ня ўсё і не аб усім духавенстве справядліва. Ёсьць сярод духавенства ўсякае, ёсьць і такое, аб якім казаў п. Яраслаўскі, але-ж далека ня ўсё такое, бо ёсьць і ў поўным сэнсе гэтага слова «добрыя пастыры». Але добрых мы ня заўважываем, а дрэнных бачым.

Духавенства, як і Хрыстос сказаў, павінна быць «сьвяцільнікам», быць тым чым лямпа ў хаце. Але-ж бывае так, што пакуль лямпа сьвеціць добра, дык ніхто на яе ня зварачвае ўвагі, ніхто ей ня дзякуе, а як накапціць, дык тады ўсе сварацца і ругаюцца. Так і з духавенствам: добрага ніхто ня заўважывае, а на дрэннае ўсе глядзяць і нібы рады, што знайшлі і ў папа грахі і недачоты.

Вы кажаце, што духавенства любіць грошы, любіць банкі, «зьберэгательныя касы» і г. далей. Ёсьць і такія, але ці многа-ж з іх асоб багатых? Дужа і дужа мала. Больш бывае так: паміpае сьвяшчэньнік і сямья яго астаецца зусім бяз хлеба, калі ў складзе яе няма новага карміьльца. У духавенства ёсьць зямля, — няхай так. Але ці іхняя-ж гэта зямля? Зямля царкоўная, і карыстаюцца з яе сьвяшчэньнікі пакуль жывы. Вы кажыце: у Салавецкім манастыры 70 000 д. зямли. Гэта так. Але ці ведаеце-ж вы, што гэта за зямля? Гэта быў пустынны востраў сярод белага ледавітага сьцюдзённага мора, амаль ня сплашны камень. Тысячагодзьдзі стаяў ён зусім пустыняй. Калі туды прайшлі першыя манахі-адшэльнікі, дык там жылі толькі дзікія зьверы і марскія птушкі. Пасяліўшыся там, манахі сталі маліцца Богу і працаваць, — і вось разпрацавалі лепшыя кавалкі зямлі, зрабілі найлепшыя нівы і гароды, завялі няўстаннай працай добрую гаспадарку, найлепшы скот, збудавалі вялікі манастыр, у якім цяпер штодзенна корміцца сотні і тысячы багамольцаў, — трэба-ж для гэтых богамольцаў хлеб? А хто-б яшчэ апрача гэтых

афярных манахаў рашыўся пасяліцца на дзікім пустынным востраве? Хто-б з вас захацеў узяць сабе ў надзел такую зямлю на дзікам востраве ў сьцюдзёным суровым клімаце на дальняй поўначы?

Вы кажаце, быццам духавенства цяпер пратэстуе проціў бальшавікоў за тое, што яно спалохалася за свой матэрыяльны дабрабыт. І гэта няпраўда: сацыялізаваў царкоўную зямлю яшчэ урад Керэнскага, але тады духавенства не пратэставала. А вось калі вы забараніваеце людзём вучацца Закону Божаму, мы пратэстуем проці гэтага горача, хоць гэта і не адзываецца на нашым добрабыце так, як адабраньне зямлі. Ня за свае кішэні цяпер заступляемся мы, а заступляемся за веру і за Царкву, бо Вы гаворыце, што даецё свабоду веры, што ня перашкаджаеце Царкве ў яе духоўнай працы, але гэта вы толькі гавораце так *тут*, публічна, перад народам, а з вока на вока самі гавораце, што ніякой веры і Царквы ня трэба, што ўсё гэта трэба зьмясьці са сьвету, — што рэлігія опіум для народа і гэтак далей, бо вы ўмееце фальшаваць і прыкідывацца. Вось і тутака вы, каб скрыўдзіць пастыраў прывадзілі нават тэксты з сьвяшчэннага пісаньня але прывадзілі фальшыва. П. Яраслаўскі, чытаючы 23 главу ад Матфея пра фарысеяў наўмысьлі прапусьціў мейсца, дзе сказана: «ўсё што яны гавораць, — тварыце». Няхай тое, што робяць духоўныя дрэнна, але тоя, што яны гавораць, чаму вучаць, тое ёсьць запраўдная навука Хрыстова і тутака вы павінны іх слухаць.

Вы аднака і тут хацелі сфальшаваць, — быццам і ў сваей навуцы духоўныя гавараць няправідлова: аб вайне, аб прысяге, аб багацтве.

Ня праўда, быццам духавенства любіць вайну і благаслаўляе вайну як вайну. Ніхто яе ня любіць. Запытайцеся ў духоўных, — вы ня знойдзеце амаль ні воднага, у каго ў гэту вайну ня згінуў ці ня скалечаны ці сын, ці брат, ці ўнук, ці пляменьнік, - як і ўва ўсіх нас. Ня благаслаўляе яно вайну і не ад яго вайна залежыць. Але, калі вайна паўстала назалежна ад яго, яно вучыць людзей каб і на вайне людзі як і ўсюды былі чэснымі, вернымі, дабрасовестнымі і ахвярнымі, — каб маглі па запаведзі Хрыстовай аддаваць душу за *бліжняга*. Калі Хрыстос вучыў любіць ворагаў, дык ён гаварыў аб ворагах асабістых, для кожнага сваіх. Прашчай *сваю* абіду, *сваю* крыўду, і маліся за *свайго* абідчыка, як маліўся і Хрыстос за *сваіх*

ворагаў, якія яго распіналі, але Ён жа горача ганіў ворагаў Божых і саблазніцеляў народу.

Вы кажаце, што духавенства любіць толькі багатых. І гэта няпраўда, калі гаварыць агулам. Ці кожны з вас ня чуў у школе ад свайго законавучыцеля як яны тлумачылі яму евангельскае апавяданьне «аб багатым юнашы», ці аб «бязумным багачы», А калі яно бывае і ў дамох багатых, дык ня толькі радзі сваей карысці, а часьцей радзі карысьці царквы ці карысьці бедных, — каб прыхіліць багатага да ахвяры. Так рабіў і Хрыстос, калі Ён напрыклад заходзіў да багача Закхея і прыхіліў яго да раздачы нішчым «палавіны іменія».

«Духавенства любіць насіць драгацэнную адзежу, залатыя крыжы, мітры». Але ці іхняя-ж гэта адзежа? Гэта так сама больш за ўсё адзежа царкоўная, якая знаходзіцца ў духавенства толькі ў карыстаньні і якую яны так шчыра і ўважна сцярагуць. Вось, прыклад: у Крамлі колькі стагодзяў была «патрыаршая рызьніца», у якой хаванілася шмат бязцэнных сакровішчаў. І ўсе яны былі цэлы, пакуль былі на руках у духавенства, а цяпер ня ўспелі пабыць на руках у бальшавікоў і двух месяцаў, як яны ўжо аказаліся абкрадзенымі на 25 мільёнаў!

Дык хто-ж больш карысны і хто больш цягнецца да грошаў і драгацэннасьцяў?

Але ізноў я гавару гэта не за тым каб бараніць толькі духавенства. Няхай сабе яно дрэннае (і сярод яго ёсьць і такое!), але-ж гэта зусім не адзначае, што трэба спыніць веру і Царкву. Веру і Царкву вы ніколі ня спыніце, бо і самі ўчуеце яе жыцьцёваю сілу і моц. Ня дарма-ж вы і цяпер стараецеся нападаць на нас з Евангельям у руках.

І калі-б вы нават у сваем сацыялістычным вучэньні трымаліся-б хрысьціянскіх поглядаў, дык напэўна-б і гэта навука выглядала-б іначай і плады ад яе былі-б іншыя: не барадзьба, не жываедства, ня споры і сваркі, ня жорсткасць і крыважаднасць. Вы самі жывецё толькі тым, што сярод вас ёсьць людзі, выхаваныя на ідэях хрысьціянскіх. А калі-б такіх людзей старанных сярод Вас не было-б, дык даўно-б ад вас нікога не асталося, бо вы-б з'елі адзін другога».

Так, у гэтакім родзе гаварыў доўта бацюшка. Відаць было, што сярод слухачоў было дужа многа, якія з прыемнасьцьцю слухалі гэтую прамову радуючыся, што знайшоўся сьмелы чалавек, які ня

пабаяўся выступіць на гэтым мітынгу, каб абараніць веру і Царкву, а нават і агульныя нападкі на духавенства. Пасьля бацюшкі выступалі і іншыя аратары. Мітынг станавіўся ўсё гарачэйшым, але ў нас ужо ня было часу, і мы павінны былі ісьці дамоў, — вядома пяхотай верст 6 па Маскве, каб пасьпець зайсьці дамоў да таго часу, у які ўжо хадзіць забаронівалася.

Гэты мітынг яшчэ раз пераканаў мяне ў тым, аб чым я гаварыў і раней. Народ крэпка стаў там за веру і Царкву, - ня за вонкавыя яе формы, а за яе навуку і за яе строй. Ён больш менш спакойна перанёс зьмену рэжыму палітычнага, але ён ня пусьціў бальшавіцкіх рук да сьвятога святых сваей душы, — да сваей веры».

Литература

1. См., напр.: Бежанства 1915 года. Беласток, 2000.
Во время наших многолетних экспедиционных работ в западной части Белоруссии и на востоке Польши, где столетиями компактно проживают белорусы, был накоплен обширный документальный материал, связанный с беженством 1915 — начала 1920 –х гг. Наряду с десятками публикаций воспоминаний белорусских беженцев в основном в периодической печати различных стран, а также во всевозможных сборниках, этот документальный материал послужил основой настоящего исследования.
2. Запись белостокской журналистки газеты «Ніва» Г. Кондратюк 1994 г.
3. Запись А. Вербицкого 2000 г.
4. Как и редактор парижской «Культуры» минчанин Ежи Гедройц, Вячеслав Богданович принадлежал к тем личностям, чья деятельность, в том числе и литературная, еще долго будет востребована разными людьми, принадлежащими порой к различным политическим, религиозным и иным лагерям, ибо жизнь и творчество этих личностей — пример служения не только своему народу и Отечеству, но и человечеству вообще. Не удивительно, что и тот и другой так много внимания уделяли праву каждого человека на свободу и достоинство, призывали к политической, религиозной и культурной толерантности страны и народы. Особая миссия в провозглашении этого и борьбе за эти права и идеалы выпала на долю Вячеслава Богдановича, белорусского сенатора во II Речи Посполитой, поднявшего свой голос в защиту угнетаемого белорусского меньшинства, а также всех православных

жителей межвоенной Польши. К сожалению, этот выдающийся литератор и общественный деятель, оставивший очень заметный след в истории белорусского национального движения, в возрождении белорусской культуры и языка, оказался забытым в кругу политиков, литераторов и ученых.

Сын православного священника Витебской губернии В. Богданович (родился в 1878 г.) получил высшее богословское образование. Уже в годы учебы в Киевской духовной академии, а особенно с началом работы в качестве инспектора Литовской духовной семинарии в Вильне, он увлекается литературной деятельностью, позднее знакомится с белорусским национальным движением и принимает в нем участие. В 1915 г. вместе с эвакуированной семинарией Богданович переезжает в Рязань, откуда возвращается в Вильно уже после революции и осенью 1919 г. на правах ректора возобновляет занятия в семинарии. В октябре 1922 г. «по просьбе митрополита Георгия с Синодом» В. Богдановича вместе с архиепископом Елевферием арестовали и вывезли в Краков.

В том же, 1922-м, году В. Богданович был избран членом Сената II Речи Посполитой, где он многое сделал «для защиты православной церкви», что способствовало его известности «среди православных не только в Польше, но и во всем мире».

В силу сложившихся обстоятельств полемические мотивы в литературном творчестве Богдановича доминируют довольно долгое время. Полемический оттенок носит и почти все, что было напечатано им в журнале «Праваслаўная Беларусь», выходившем в 1927 -1928 гг. в Вильне. Собственно, журнал можно было бы с полным правом назвать печатным органом самого В. Богдановича, ибо именно он был главной идейной и литературной силой издания, которое оказалось преследуемым властями и было даже запрещено ими. Такое положение не удивительно, ибо «Праваслаўная Беларусь» поднимала широкий круг жгучих проблем белорусской национальной жизни в условиях II Речи Посполитой, боролась за права белорусского народа, в том числе в общегражданской и религиозной сферах.

В своей писательской и парламентской деятельности В. Богданович всегда выступал как общенациональный белорусский лидер независимый от конфессиональной ориентации. В этой связи весьма показательно его отношение к белорусам-католикам, которых он всячески защищал от религиозных гонений. «Я был бы односторонним, — говорил В. Богданович на заседании Сената, — если бы не прибавил здесь несколько слов об отношении правительства к белорусам-католикам. Вследствие совершенно иного положения римско-католического костела в государстве здесь дело

идет уже не о религиозных преследованиях, но и здесь ярко выступает существо отношения правительства к религиям, от которых оно требует действий определенного политического направления. На основании этого принципа безусловно попираются всякие проявления национальной жизни в церковной жизни белорусов-католиков. Отсюда видно, что в отношении римско-католического костела правительство одинаково не хочет считаться с действительными нуждами самого народа. Только, вследствие иного строя в этом костеле и принятого конкордата с Апостольской Столицей, не имея возможности создать каноническое представительство, оно направляет свой гнет непосредственно на клир и народ, причем считает каждого католика-белоруса, будь то светский или духовный, явно симпатизирующего национальной белорусской жизни или принимающего в этой жизни деятельное участие, - враждебно настроенным против государства.

Вот, например, против ксендза В. Годлевского, настоятеля костела в Жодишках Свенцянского у., говорящего по желанию народа проповеди по-белорусски, возбуждено судебное дело, причем, по имеющимся в белорусском клубе данным, судебный следователь в отношении к кс. Годлевскому применил такую форму полицейского надзора, по которой этот белорусский ксендз должен через день являться для регистрации в местную полицию. Я спрашиваю коллег ксендзов-сенаторов, заставляли ли когда либо ксендзов в русские царские времена через день являться для регистрации к уряднику.

Когда Виленский римско-католический епископ выслал в Жодишки специальную комиссию, составленную только из ксендзов-поляков с целью расследования существа дела, местная полиция стерроризировала народ, принесши на костельный погост пулемет и целясь в безоружную толпу богомольцев. Несмотря на этот террор полиции белорусское население в значительном большинстве высказалось за употребление белорусского языка в костеле.

Ксендза В. Шутовича, настоятеля в Бороденичах, ведущего преподавание Закона Божия в школах на белорусском языке, местные польские учителя по приказу Дисненского инспектора народных училищ безобразным образом физической силой не допускают в школу.

За употребление белорусского языка уволены с должности школьных префектов ксендзы Семашкевич, настоятель в Лаворишках и Петровский, настоятель в Долгинове.

Белорусскую католическую прессу, освещающую факты преследования в белорусско-католической жизни и заступающуюся за преследуемых, беспощадно конфискуют. Из-за этого в прошлом месяце конфисковали №№ 20 и 22 белорусского журнала «Криница».

Миную из-за недостатка времени бесчисленные другие факты. Вспомню здесь еще только о весьма характерном в этот отношении факте, о несправедливом отказе властей в легализации общества белорусских ксендзов «Светочь» религиозно-просветительного характера».

Ключевая проблема, о которой В. Богданович много писал вплоть до своего ареста в 1939 г., — «церковь и государство». Уже в самых ранних своих произведениях, посвященных ей, он очень точно нарисовал историческую картину феномена этих взаимоотношений, определил для СССР «тот крайний вид социализма (коммунизма), который сам фактически стремится стать религией». Без сомнения, все, что было написано В. Богдановичем на эту тему, не потеряло своего значения и до сего дня, а предложенная им формула сосуществования церкви и государства представляет особую ценность прежде всего для нынешнего времени, для современных условий, для новой Европы. Увы, для Польши 1920 -1930-х годов, а тем более СССР, предлагаемое В. Богдановичем было совершенно неприемлемо, а сам он попадал в разряд лиц, весьма опасных для государства, которое неоднократно применяло к нему всевозможные репрессии. Не удивительно, что в конце концов он оказался узником польского концлагеря в Березе Картузской, откуда больной и измученный освободился незадолго до своего нового ареста органами НКВД в Вильне осенью 1939 г.

В. Богданович был не только отвлеченным мыслителем, бумажным доктринером, но и весьма деятельным исполнителем, воплотителем своих идей в жизнь. Он показал себя умелым политиком, сплотившим вокруг себя большое число однодумцев, организатором особой православной партии (Политической партии под названием Православно-Белорусское демократическое объединение) и даже объединения ряда православных групп политического характера, наиболее ярким свидетельством чего служит составленный им «Мемориал членов объединенной церковной комиссии из представителей белорусского национального комитета и русского народного объединения в Вильне».

Также как и теме соборности в жизни церкви, Богданович много внимания уделял вопросу взаимоотношения языков в среде православного народа Польши, прежде всего судьбам церковнославянского языка. По поводу сосуществования русского и белорусского языков он писал: «Этими двумя языками пользуется православное население в своей домашней и церковно-общественной жизни. Два этих языка понятны населению... Существование двух языков в нашем быту не поселит в народе православном распри, ибо вера православная догматы ее, соборное начало в управлении

и церковнославянский богослужебный язык явятся связующим звеном всех православных в нашем крае для созидания церкви».

В одной из своих ранних работ, написанных в ответ на нелепые обвинения с польской стороны в связи с отстаиванием В. Богдановичем церковнославянского языка в богослужении он писал: «Славянский язык... употребляется в церкви не только в России, но и у многих иных славянских православных народов. Употреблялся он некогда и поляками, которые вначале приняли Христову веру от учеников святых братьев Кирилла и Мефодия. Для нас, белорусов, церковно-славянский язык является исторической основой нашей культуры... пристало ли нам начинать вести борьбу с этой мощной основой нашей культуры и нашего литературного языка?»

Один из ближайших сподвижников и однодумцев В. Богдановича протоиерей Лука Голод, автор большого числа литературных работ, о котором нынешние издания даже не упоминают, высказался еще более категорично о значении церковнославянского языка для белорусского национального возрождения: «Славянский язык должен быть сохранен в церкви как одно из средств культурного развития белорусского языка».

Интерес к духовному наследию В. Богдановича среди православного населения современной Польши, Литвы, Беларуси и России продолжает сохраняться, свидетельством чего служит ряд его произведений, по сей день сберегающихся в различных библиотеках — частных и приходских. многие из сочинений В. Богдановича неоднократно переписывались читателями, которые даже составляли из них некое подобие рукописных сборников, своего рода избранных собраний его сочинений. Абсолютно лишенное какого то бы ни было рекламирования и даже упоминания кем-либо, включая и деятелей Церкви, наследие В. Богдановича сразу же нашло отзвук в глубинах народного сознания, было востребовано им и сохранено.

Подробнее о В. Богдановиче см.: *Лабынцев Ю.А.* Литературное наследие В.В. Богдановича - белорусского сенатора II Речи Посполитой // Славяноведение. 1997. № 3; *Он же.* Белорусско-русская идея во II Речи Посполитой: Литературная, церковная и общественная деятельность сенатора В. Богдановича // Матице српске за славистику. 1997. № 52; *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Православная литература межвоенной Польши. М., 1998; *Лабынцев Ю.А.* Белорусско-русская идея во II Речи Посполитой: Церковная, политическая и литературная деятельность сенатора В. Богдановича // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000; Они же. Православная литература Польши (1918–

1939гг.). Минск, 2001; *Лабынцев Ю.А.* Воспоминания о Московском Церковном Соборе 1917-1918гг. сенатора В. Богдановича // Здабыткі. Мінск, 2001; *Ю. Лабынцев, Л. Щавинская.* Православные в межвоенной Польше и их лидер сенатор В.В. Богданович // http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/sykon/client/; *Они же.* «Белорусская душа» — пространство взаимосвязи между «польской и русской душами»: Литературное наследие сенатора В. Богдановича // www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_thesis=1858; *Они же.* «Белорусская душа» - пространство взаимосвязи между «польской и русской душами»: Литературное наследие сенатора В. Богдановича // Dusza polska i rosyjska. Польская и русская душа. Современный взгляд. Лодзь, 2003. С. 160–174. и др.

Л.Л. Щавинская (Москва)

Белорусский народный нарратив о беженстве в Первую мировую войну: Путь в Россию

Народный нарратив — новая и пока мало исследованная литературоведами область массового творчества. В силу обширности и почти полной неизученности своего разнородного пространства она представляет большой интерес для современной литературоведческой науки. Постараемся показать это на материалах, собиравшихся нами в течение ряда лет, прежде всего в ходе экспедиций, проходивших на территориях нынешней Польши, Белоруссии, Литвы и Украины.

22 июля (4 августа) 1915 г. русские войска, неся потери, отступили из Варшавы на восток. Германские и австро-венгерские армейские соединения в последние летние дни того года начинают постепенно занимать западнобелорусские земли, затем линия фронта стабилизируется. Половина территорий с белорусским населением оказывается в зоне немецкой оккупации [1]. Впрочем, самих белорусов остается в этой зоне совсем немного, около двух миллионов их перемещается в основном вглубь России, становится беженцами, выселенцами. Наступает невиданный дотоле по масштабам приток в великорусские губернии невеликорусского населения, преимущественно западных белорусов и западных украинцев, в основном православных. Происходит беспримерная, необычайно динамичная по своей сути, историческая встреча восточнославянских этносов, длившаяся несколько лет, с 1915-го до начала 1920-х гг.

Все это наложило существеннейший отпечаток не только на судьбы сотен тысяч и миллионов людей, но и стало своего рода

горнилом невероятной до той поры массовой верификации множества этнокультурных, политических и даже конфессиональных представлений в кругу восточнославянских народов. В известном смысле это был период практического и притом всенародного ответа на вопрос о единой русской нации в Российской империи, опыт восточнославянского взаимодействия во всех сферах жизни материальной и духовной, время интенсивного анализа общерусскости и постижения национальной самости белорусскими и украинскими крестьянами, духовенством, народным учительством, чиновничеством.

Каждый беженец оказался причастным к такой беспрецедентной этно-поисковой акции, зачастую вовсе не отдавая себе в этом отчет, но тем не менее становясь частичкой данного всеобщего потока, вынесшего одних, правда, немногих, на уровень понимания основных механизмов нациотворчества, большинство же — видения собственных отличий от великорусского населения, близкого, родственного, но все же «не своего», «не нашего». Подобные выводы удается сделать в результате изучения многих сотен частных документов и различного рода исторических актов, а также свидетельств живой истории, которые нам удалось собрать за годы работы с огромным, преимущественно крестьянским, литературным наследием. Как правило это краткие, но весьма содержательные авторские рефлексии и устные, записанные вторыми лицами, воспоминания, представляющие ценнейший литературный, исторический, социологический и иной материал, неизученность которого кажется почти курьезной, ибо именно он дает тот или иной ответ на множество сложнейших вопросов, решавшихся в массовом народном сознании в трагические времена первой четверти XX столетия.

Особенно это заметно на белорусском примере. Для белорусов-беженцев, начавших свой путь в Россию в августе 1915 г., он не прошел бесследно, стал одним из ключевых моментов национальной истории, к сожалению, до сих пор практически не исследованным. Обширность и разнообразие собранных источников дают возможность выделить несколько главных тем, представляющих для нас первостепенный интерес. Одна из них — видение западными белорусами России и русских до прибытия в глубинные губернии, их образ, стереотип, миф. Иными словами, то идеальное, что в са-

мом скором времени было подвержено испытанием практикой, драмами и трагедиями миллионов жизней и отдельных человеческих судеб.

К началу беженства западнобелорусское крестьянство в определенной мере уже было интегрировано в общеимперскую жизнь. Имело оно и какое-то представление собственно о России и русских, которых в просторечии часто называли «маскалями». Большое влияние на крестьян оказывали школы всех типов, православная церковь, всевозможные народные библиотеки, народные чтения и т. д. Весьма существенной во всех отношениях была роль армии, военной службы, на которую регулярно призывались и выходцы из белорусских губерний. Собственно белорусы официально считались одной из ветвей «русского народа» и имели практически равные права с великороссами, что не могло не сказаться на довольно успешных карьерах многих из них, в том числе и выходцев из крестьянской среды. Не удивительно, что в Первой мировой войне участвовало уже немало офицеров — сыновей западнобелорусских крестьян. Постепенно эти крестьянские дети стали заполнять и низшие и даже средние ступени имперской чиновничьей лестницы как на местных уровнях, так и на столичных. Сохранились рассказы односельчан о приезде подобных лиц на родину, которую они продолжали чтить, часто помогая не только своим близким, но и местному обществу.

Сельские жители оставили и немало воспоминаний об учебе в народных школах, которые оказывали на них всестороннее влияние, не исключая даже становления их этнического самосознания [2]. Вот как описывает такие школы конца XIX — начала XX вв. в своих обширных рукописных заметках Нестор Перевой (1887-1971), один из активнейших деятелей Белорусской народной громады в Москве, куда он попал как беженец: «Учились по очереди в хатах, где были ученик или ученица. Не было тогда никакого принуждения к учебе. Учились преимущественно мальчики, а это потому, что лучше было в армии тем солдатам, которые хоть немного были грамотны... Книжки были только русские. Буквари, азбуки, иногда какой-нибудь задачник... На стене развешены карты мира и отдельная большая карта России».

Крестьянский писатель-беженец М. Красовский, по прозвищу Дядька Квас (1904–1985), довольно подробно повествует о своем превращении благодаря школе из «простого» и «тутейшего» в «белоруса», который является представителем «русского племени». «На уроке, — писал он, — я узнал, что Гродненская губерния..., где находится наша деревня, заселена, кроме литовцев и евреев, белорусами — русским племенем, язык которого отличается от чисто русского примесью польских слов. Белорусами они называются потому, что имеют в большинстве бело-русые волосы и все носят белые одежды, начиная от рубашки и кончая свиткой. Тогда и в нашей округе одежда у всех крестьян была белая. И тут меня осенила догадка: а мы простые люди не являемся часом этими самыми белорусами? Кто же объяснит мне это? И я решил обратиться к своему отцу. Мой отец, имея совсем мало земли и большую семью, все время крутился на заработках. Бывало, что и по нескольку недель не ночевал дома. А как приходил домой, то спешил как можно скорее сделать запущенную работу по хозяйству. Никогда не имел времени заняться детьми, всё урывками обменивался с нами парами слов. Я, тем не менее, подстерег его в свободный момент:

— Тату, а мы, люди простые, не являемся часам белорусами?

— Ясно — белорусами, - говорит отец. — И наш язык, его зовут простым, и есть белорусский. Вот я служил в солдатах аж в Могилевской губернии, то и там все говорят на этом же простом языке, как и мы.

— А почему нас, белорусов, учат на русском, а не на своем родном языке?

— А это потому, что русский царь-государь владеет нами.

— А у белорусов был когда-нибудь свой царь белорусский, из белорусов белорус?

— Вот этого, сынок, я нигде ни от кого не слышал, чтобы царь был белорусский у белорусов. Мне думается, что у белоруса не может быть царя, ибо наш белорусский народ весь крестьянский. Бедный он и темный, неученый. Цари же и короли всегда происходят из богатеев. Натурой наш брат-белорус не подходит для этой вакансии. Чрезмерно он справедливый, мягкосердечный. А царь — тем

он и царь, что сердце у него твердое, как камень. Натура у него жесткая, не отзывчивая на боль и слезы людские...» [3].

Проводником массового государственного влияния на сельских жителей была православная церковь, под контролем которой находилось и большое число народных школ, библиотек, различного рода общественных мероприятий. Церковнослужители всех рангов, выпускники различного типа имперских духовных учебных заведений, преимущественно происходящие из местных уроженцев, оказывались едва ли не самыми действенными и авторитетными пропагандистами русской культуры, распространителями знаний о России, с которой они чувствовали прочную связь. Революция 1905–1907 гг. способствовала появлению на селе многих новаций, например, библиотек-читален им. Ф. Павленкова, получивших широкое распространение и предоставлявших крестьянам возможность широкого выбора самой разнообразной литературы на русском языке, включая специальную периодику.

Весть о Первой мировой войне белорусское крестьянство встретило с относительной тревогой. Будучи в основном «лояльными царскими подданными», от которых еще и во времена межвоенной Польши (1918–1939) все еще «на полном... серьезе можно было услышать..., что царь — избранник и помазанник Божий» [4], простой сельский люд верил государственной пропаганде и поначалу мало сомневался в победе русских войск. Повсюду тогда была заметна общая солидарность с военными планами государства, которое мобилизовало в армию и немало крестьян-белорусов. В отдельных белорусских местностях наблюдался настоящий патриотический подъем, когда в действующие войска старались попасть добровольцы даже из числа мальчиков-подростков [5]. Семьям мобилизованных оказывалась всяческая помощь на государственном и местном уровнях. Одновременно местное население стало участвовать в сборе различных пожертвований для нужд армии, включая не только денежные, но и всевозможные натуральные. К середине 1915 г., когда положение на фронте стало резко меняться и он начал приближаться, белорусские крестьяне привлекаются к возведению оборонительных сооружений, в основном рытью окопов, гужевому извозу. У некоторых реквизируют лошадей и различного рода повозки.

На дорогах, ведущих с запада на восток, появляются первые гражданские лица, покидающие Царство Польское — русские, поляки, евреи. Необходимость эвакуации становится очевидной и власти на всех уровнях начинают готовить к ней местное население, которое, по мнению государственного руководства, не должно было оставаться на захваченной врагом территории. Формально эвакуация являлась делом добровольным, за нее активно агитировали православные священники, а также слухи о зверствах немцев. Однако все в значительной мере видоизменилось сразу же после внезапного прорыва противником западного фронта.

Возможная эвакуация, с предварительной описью утрачиваемого крестьянами недвижимого имущества, цена которого на одного хозяина достигала до десяти и более тысяч рублей, сразу же превратилась в самое настоящее беженство, к которому западнобелорусских крестьян понуждали и отступающие русские войска, применявшие к тому же тактику выжженной земли, предусматривавшую уничтожение всяческого имущества, в том числе и сельских жилых домов, на оставляемой территории.

Крестьяне — очевидцы вспоминали [6]: «Все люди... выезжали фурами, живого духа в селе не осталось. Как только люди выехали, солдаты подожгли деревню...». «Повозки были на железных колесах. На них стали ставить такие будки. Понаделали этих будок и приготовились к выезду, так как говорили, что немец очень лютует. На таких повозках с будками всем селом выезжали... Ни одна душа не осталась... Наше село горит. Подпалили свое солдаты, чтоб немцам ничего не досталось. Жгли свое русские солдаты...». «Сделали мы такую будку из полотна на возе. Взяли полный сундук. Часть гусей продали, а остальных погнали. Где остановимся, там зарежем гуся... Дорогами и войско ехало и беженцы. Я с сестрой... чаще шли за возом. Иногда ночью едем, а спать хочется; из колонны же нельзя выехать. Мы иногда уже не могли и ложились возле шоссе, чтобы поспать. Отец с братом... оглянутся, что нас нет, и брат давай нас искать». «Фронт приближался, русские отступали. Люди не знали, что делать: или бежать в Россию или прятаться в лесах и болотах пока фронт не пройдет. Ксендзы сказали своим прихожанам, что полякам нечего бояться немцев, так как они воюют с русскими,

а не с поляками, и советовали не покидать своих домов и родины. Православные священники советовали всем православным бежать вглубь России, так как русским, как они говорили, грозят зверства со стороны немцев и даже смерть. И все белорусы выехали, а поляки остались на месте». «Казаки ездили по деревням и пугали людей, что немцы насилуют женщин без всякого разбора, груди обрубают им саблями, а мужчин так всех вешают и стреляют... А тут целая паника пошла по деревням». «Помню, как по деревне ездили казаки на конях и кричали: «Убирайтесь все, иначе вас германцы убьют»». Впрочем, некоторые из беженцев свидетельствовали, что никто их к беженству не принуждал. «Из польских деревень шли люди и говорили, что немцы мужчин убивают, женщин насилуют. И на другой день вся наша деревня пришла в движение: никто нас в беженство не выгонял». «Сперва попы пугали, что немцы людям глаза выкалывают, а бабам груди отрезают. А после казаки верхом ездили и выгоняли нас, а деревню подожгли. У нас хата была хорошая, большая, новый пол в ней постелили. И всякие надворные постройки были — все казаки сожгли. Свиньи остались, а коров гнали с собой и после возле Минска русские солдаты купили их у нас на мясо. Везли с собой одежду и еду на фурманке прикрытой полотном. Ночевали на фурманках и ели то, что забрали из дома. Собирали хворост, раскладывали огонь и варили... Заехали мы в Рогачев и там перегрузились на поезд, а коней и возы продали...». «Отец скот и хату для армии сдал, на что дали ему справку (приехав в Россию он получил в губернии денежную компенсацию)... На дороге... было много военных и гражданских. Шли пешком. Ехали на фургонах и автомобилях... Воздух, насыщенный смрадом конского пота, перемешивался с выхлопными газами автомобилей. Затыкало нос и горло. Люди болели и смерть собирала урожай. Трупы валялись рядом с дорогой...». Как позднее отмечал один из местных священников в церковной летописи, тогда «беженцы весь свой путь усеяли безымянными могилами..., умирали старые и молодые...». Число погибших от болезней и трудностей многодневного пути исчислялось десятками тысяч.

Большинство людей не имело малейшего представления о том, куда в конечном итоге они попадут, где будут жить. Все знали

твердо одно — они ехали в Россию, которая должна их приютить, а некоторые даже надеялись еще лучше устроить там свою жизнь. И хотя последних было немного, но они действительно имели для подобных надежд все основания, ибо некоторые их односельчане и родственники, выехав во второй половине XIX — начале XX вв. в русские города или переселившиеся на сибирские, кавказские и иные земли, неплохо там устроились. «В конце XIX в. царские власти агитировали наших крестьян переселяться в глубь России. Гарантировали им бесплатный проезд и свободу выбора места поселения. Этой возможностью в основном пользовались целые семьи. Иногда в одиночку выезжали молодые люди. Мой отец... в шестнадцатилетнем возрасте, не захотев работать на земле, подался в Москву». Некоторые из таких молодых крестьян довольно быстро разбогатели и даже становились владельцами собственным предприятий, включая небольшие заводы и фабрики, как это, например, имело место в случае с Лукой и Николаем Габрилевскими, выехавшими на Урал в 1907 г.

Миграционные потоки из Белоруссии на восток и юг страны, в чем её власти никоим образом не были заинтересованы, ибо это ослабляло присутствие «русского элемента» на землях былой Речи Посполитой, которые вплоть до XX столетия во многих случаях продолжали именовать «польскими», что в условиях почти полуторавекового «русского имперского господства» выглядело более чем курьезно и до сих пор бросается в глаза всякому, кто смотрит на эти факты со стороны; эти потоки постепенно набирали силу и способствовали появлению в разных отдаленных местах России целых белорусских крестьянских поселений — сел, деревень, хуторов, зачастую названных по местности, откуда прибыли поселенцы [7]. Все они сохраняли живейшую связь с родиной и, что интересно для нас, очень долгое время являлись для своих земляков в Белоруссии информаторами о жизни в России и о русских.

Впрочем, белорусы на своей исторической родине могли почерпнуть сведения о русских и непосредственно от них самих, оказавшихся там волею судеб. Русские из числа уволенных из армии, женились на местных крестьянских девушках, оказывались в Белоруссии на заработках и т.д. Знания о России и русских вольно или

невольно передавались и через посредство различных государственных учреждений и общества, с которыми сталкивались и в которых даже состояли белорусские крестьяне. Едва ли не самой всеохватывающей в данной связи была судебная система, а также школьное дело.

Все типы школ, в которых преподавание в итоге стало вестись на русском языке, давали весьма обширные и разносторонние для того времени сведения о России. Достаточно сказать, что программы народных школ предусматривали для этого целый ряд предметов, в том числе историю России, географию, историю церкви и т.д. Не удивительно, что подобное обучение способствовало становлению самосознания в белорусской среде и уже в начале XX в. тамошние крестьяне и местная крестьянская интеллигенция вполне могли писать и так: «Живем мы в соседстве с Россией рядом со Смоленской и близко Орловской губернии. Когда-то тут рекой Бесядью шла граница Беларуси и Литвы с Москвой. Земляные окопы, что раньше охраняли наш край от нападений врагов уже разваливаются..., на их же месте вырастают уже чуть ли не в каждой деревне народные школы, эти современные и будущие наши окопы и крепости, где куется будущее нашей родины, ее культурная сила и мощь. Поняли великое значение школ здешние крестьяне и интеллигенты и совместными силами борются с темнотой. Так, помещик Г. дал... землю под народную школу..., крестьяне же дали свою мозольную работу и эти школы ныне настоящее украшение деревень» [8].

А вот и поэтическое наставление одного из белорусских народных учителей того времени Константина Мицкевича, будущего литературного классика Якуба Коласа, адресованное им крестьянским детям. Он вложил его в уста одного из отцов таких детей:

«Ну, Ігнат, глядзі, брат,
Не дурэй, вучыся!
Годзі жыць бяз дзела —
За буквар вазьміся.
Будзь старанным, сынку,
Станеш чэлавекам,
Будзеш ты чытаць нам —
Цёмным неумекам,

Што там ў кнігах пішуць,
Што мы ў сьвеце значым,
Бо мы самі цёмны,
Сьвета мы неўвбачым.
Гаварыць там будзе
Пра навуку, кнігі
І аб цёмным людзе.
А старанным будзеш,
Да навукі здатны,
Я прадам кароўку
І кажух астатні; -
Далей йдзі ў навуку
Толькі, брат. вучыся...
Дык глядзі, сыночэк,
Шчырэнька вазьміся!
На гульню пустую
Плюнь, махні рукою,
Каб і я і маці
Цешылісь табою.» [9]

Так звал учиться белорусских крестьянских детей Якуб Колас и тогда одной из доминант народного образования было именно распространение знаний о России, её истории, географии, месте в мире. Русский же язык, умение говорить и писать на нем (понимать русскую речь дети начинали довольно быстро) давал возможность войти в круг многих совершенно недоступных ранее крестьянам ценностей, стать, по утверждению Якуба Коласа, «чэлавекам» и даже ответить на вопрос, «што мы ў сьвеце значым», который, конечно же, можно понимать очень широко, в том числе и в плане собственно национальных поисков.

Во второй половине XIX в. русский язык постепенно становится на долгие годы письменным языком белорусских крестьян, причем не только православных, но и многих католиков. На нем идет и оживленная переписка белорусских переселенцев на окраины России и в Америку со своими сородичами, фрагменты которой сохранились до сих пор в некоторых семьях. То же было и в случае со служившими в царской армии, где, кстати, грамотным было много

легче, ибо они не только имели различного рода льготы, но и могли войти в среду наиболее привилегированных военных срочной службы и даже успешно продолжать дальнейшую учебу.

Народные учителя во многих случаях обучали не только детей, но и взрослых вне школы. Часто такой учитель был и самым авторитетным советчиком, ну и, конечно же, информатором и толкователем важнейших событий в России. В отличие от сельского батюшки он часто довольно смело судил о многих злободневных проблемах и явлениях в жизни империи.

Некоторые учителя регулярно проводили особые занятия с крестьянами, в том числе и касающиеся знаний о России, о чем сохранилось довольно много сведений с мест. Вот одно из таких признаний: «В нашем местечке есть двухклассное училище, в нем два учителя... Таких ответственных и старательных людей в деле просвещения мы еще не имели, да, наверное, и не будем иметь. Каждую субботу и воскресенье собирают они малых и старых и читают им весьма интересные книжки, показывая при этом туманные образы (картины)», то есть изображения через проекционный аппарат. Через таких учителей осуществлялись и бесплатные раздачи различного рода изданий всевозможных организаций государственного и окологосударственного толка в белорусские крестьянские семьи. Преимущественно это были книги для народного чтения. Народные учителя нередко становились и инициаторами создания сельских театров, где ставились русские пьесы.

До сих пор сохранилось множество свидетельств об особой любви белорусских крестьян той поры к русской литературе. Многие из них помнили её образы всю жизнь и цитировали на память произведения известных русских поэтов-классиков, в том числе и те, где говорилось о России и русских. Отдельные воспоминания тогдашних учеников народных школ в значительной мере наполнены подобными цитатами. Достаток позволял отдельным белорусским крестьянам выписывать различные газеты, освещавшие самый широкий круг вопросов. Огромный материал о России публиковали не только русскоязычные газеты, но и польскоязычные, которые читали преимущественно белорусы-католики, а также единственная белорусскоязычная — «Наша Ніва».

Многочисленные рукописные материалы, и прежде всего церковные летописи, дают возможность довольно детально представить эволюцию знаний о России и русских в белорусской крестьянской среде [10]. Примерно за полстолетия там был пройден колоссальный путь подобного познания, к началу Первой мировой войны выросло поколение крестьян, довольно прочно вошедших в общероссийскую жизнь, многие представители которого, окончив различные народные школы, достаточно регулярно читали русскую прессу, знали русскую классическую литературу.

Многое в подобном процессе значили выборы в Государственную Думу, превращавшиеся в острые политические кампании. Со времен отмены крепостного права, пожалуй, не было тогда в крестьянской жизни более существенных общественных событий, непосредственно связанных с государственной властью. В тоже время многие крестьяне-белорусы ясно отдавали себе отчет, что эти выборы являются выборами в общероссийскую власть, в которой должно быть и их представительство. Правда, такие выборы оказывались не слишком похожими на хорошо знакомые местные мирские, где господствовал в течение столетий коллективный, общинный голос, являющийся по сути разнородным толкователем, совещательным органом и судом последней инстанции. Именно этот «мирской» опыт и станет в дальнейшем для белорусов весьма важной основой для организации различного рода мероприятий, включая различные съезды, как на родной земле, так и в беженстве на территории России [11].

Литература

1. Подробнее см.: Нарысы гісторыі Беларусі. Мінск, 1994. Ч.1; *Зайончковский А.М.* Мировая война 1914-1918 гг. М., 1938. Т. 1; *Ростунов И.И.* Русский фронт первой мировой войны. М., 1976.
2. Подробнее см.: *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Современное западнобелорусское наследие давней церковно-приходской школы // Традиции и современность. № 2 (2). 2003. С. 107–127.
3. *Дзядзька Квас.* Роздумы на калёсах. Беласток, 1995. С. 44–45.
4. *Сакоўскі В.* Гісторыя маёй мясцовасці. Беласток-Гайнаўка, 1999. С. 65.

5. См.: *Sosna G., Fionik D.* Parafia Ryboły. Bielsk Podlaski–Ryboły–Białystok, 1999. S. 48.
6. С конца 1950-х гг. большое число корреспондентских записей, воспоминаний белорусских беженцев публиковалось в издающейся в г. Белостоке газете «Ніва». К сожалению, эти записи были переведены на современный белорусский литературный язык и лишь в самое последнее время отдельные подобные воспоминания благодаря молодому культурологу из г. Бельска Подляшского (Польша) Д. Фионику начинают печататься в основанном им журнале «Бельскі гостінэць» (выходит с января 1998 г.) на местном белорусском диалекте. Сейчас тему беженства начинают активно разрабатывать известные польские историки белорусского происхождения И. Матус и Е. Миронович. См., напр.: *Matus I.* Bieżeństwo 1915 roku w relacjach mieszkańców wsi Dawidowicye w powiecie Bielskim // Загароддзе-3. Мінск, 2001. С. 121–127.
7. Подробнее о переселенцах из Белоруссии см.: *Верещагин П.Д.* Крестьянские переселения из Белоруссии (вторая половина XIX в.). Минск, 1978; *Панютич В.П.* Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861–1900 гг. Минск, 1990.
8. Наша Ніва. 1910. № 1.
9. Цит по: Наша Ніва. 1910. № 4.
10. В некоторых белорусских церковных летописях, составлявшихся, кстати, на русском языке, есть довольно подробные сведения о народном образовании в местном православном приходе. Примером может служить объемная двухтомная летопись западнобелорусского «Рыболовского прихода», в которой о народных школах до начала беженства говорится следующее:

«......в конце 19 и начале 20 века... в приходе было несколько Церковно-приходских школ, а еще раньше так называемых школ грамоты, зависевших исключительно от епархиальной власти а в частности от местнаго настоятеля. А в еще более отдаленные времена и самое преподавание всех предметов в некоторых школах прихода велось исключительно священником или даже дьячком и причтом в причтовом доме. Поэтому, если не теперь, то раньше, народное образованіе в приходе имело довольно тесную связь с церковно-приходской жизнью.

Вот почему этот вопрос и не может быть обойден молчаніем на страницах этого труда.

Как уже замечено выше Церковные школы и их предшественницы «школы грамоты» к концу 19-го века были во всех деревнях прихода.

Как увидим из исторіи возникновенія и постепеннаго развитія этих школ первоначально забота о народном образованіи была проявлена исключительно со стороны Церкви.

Особых средств на дело народнаго образованія ни правительством ни епархіальной властью не отпускалось. Стараніями местнаго священника обществом даннаго населеннаго пункта составлялся приговор об открытии школы грамоты. Наем учителя производился на средства местнаго населенія (плата от ученика). Стол для учителя давался по очереди родителями ученика. Особых зданій для школьных занятій сначала не было. Нанималась для сего хозяйская хатенка на всю зиму (иногда даже на средства священника) или вся школа кочевала в теченіе всей зимы из хаты в хату по очереди.

Правда учителями этих школ грамоты были люди мало образованные — большей частью окончившіе где либо 3 отделенія народной школы. Но эти первоначальные работники на ниве народнаго просвещенія проявляли большую жертвенность, ведя занятія часто за мизерное вознагражденіе, мирясь с тяжолыми условіями учительскаго труда и стараясь сообщить своим ученикам все те знанія, какими обладали сами.

Преподаваніе в школах грамоты, а в последствіи в церковно-приходских школах велось под неусыпным наблюденіием настоятеля прихода, а учебниками эти школы снабжались из Епархіальнаго Училищнаго Совета, через его уездные отделенія. Письменныя же принадлежности, как увидим из дальнейшаго, должны были пріобретаться, как правило, самими учениками, но нередко пріобретались на средства церкви и даже на личныя средства священника...».

11. В последнее время на основе собственных экспедиционных материалов нами был осуществлен ряд публикаций, связанных в проблематикой данной статьи. См., напр.: *Щавинская Л.* Начало Первой мировой в нарративных памятниках западнобелорусских очевидцев // Первая мировая война в литературе и культуре западных и южных славян. Сборник тезисов. М., 2003. С. 79–82; *Она же.* Начало Первой мировой в нарративных памятниках западнобелорусских очевидцев // Первая мировая война в литературе и культуре западных и южных славян. М., 2004. С. 453–460.

В.П. Журавлев (Минск)

Эскизы и образы времени

Свою статью я хотел бы начать с рассуждений известного английского писателя Сомерсета Моэма о взаимоотношениях человека со временем, с тем временем, в котором он живет, и временем, в промежутке которого человек находится — прошлым и будущим. Писатель считает незавидным и даже смешным положение того человека, который физически попадает в иное, новое или заметно обновленное время, а духовно, психологически завяз в прежнем. Сошлёмся в этой связи на такое его замечание: «Бывает, что человек зажился, и из времени, в котором ему надлежало особое место, попал в чужое время» [4, С. 12]. Не менее комичными воспринимаются, на его взгляд, и люди, напоминающие «бойких факельщиков», стремящихся громко и оскорбительно оттолкнуть и вытеснить *предшествующее*, ничего не взяв из его приобретений и достижений.

Было бы, конечно, поспешным и несправедливым ставить безымянного персонажа рассказа И. Стадольника «Было и такое» («Полымя». № 11. 2005) в негативный оценочный ряд только потому, что он психологически целиком остался, застрял в прошлом, военном времени, хотя много лет прожито им в новом, послевоенном. В годы войны этот человек был, можно сказать, на переднем крае суровой и тяжелой реальности: партизанил, возглавлял группу минеров-подрывников и неоднократно смотрел смерти в глаза. Всё это довольно веские и серьезные характеристичные аргументы, как и сама развернутая художественная деталь: «орденские планки на тёмно-сером пинжаке» этого, уже старого, поседевшего и согбенного человека. Вместе с тем, много в его словах и оценках настораживает и даже пугает своей безапелляционной категоричностью суждений и выводов, которые он совсем не против реализовать в

конкретных действиях. Ему, например, кажется, что в том, уже далёком военном времени, жители деревни Янки совершали что-то резко противоположное суровым законам и трсбованиям войны, когда порой, «чтобы уберечь деревню» и ее людей от неминуемой гибели, вынуждены были показывать немцам расставленные партизанами-подрывниками на дороге к деревне мины.

Он хорошо помнит о приказе немецкого коменданта, согласно которому каждая деревня сразу же подпадала под определение «бандитской» и подлежала немедленному уничтожению «вместе с людьми», если вблизи ее на мине вдруг подорвётся хоть одна машина или будет убит хоть один немецкий солдат. Припоминает этот человек и конкретную деревню Шуневку, дотла сожженную, как он говорит, «из-за нашей мины». Несмотря на все эти тяжелые трагедийные факты, которые запечатлела его память и которые, казалось бы, на почтительной дистанции времени должны были бы всколыхнуть его душу и вывести из-под власти одномерного взгляда на очень сложную жизненную проблему, он, к сожалению, полностью «застрял» в прошедшем времени. А это время, как мы теперь знаем, руководствуясь лозунгами о нарастании и обострении классовой борьбы, зачастую чрезмерно резко и жестко делило людей на друзей и врагов, на своих и чужих. Да и как иначе расценить хотя бы такие его с пугающей злостью сказанные слова в разговоре с жителем той же деревни Янки, которая в годы войны пыталась выжить и спастись, часто полагаясь на собственные возможности и силы: «Все ваши янковцы — предатели! Я потом прослышал, что они показывали немцам, где мы ставим мины. Жаль, что поздно узнал об этом. А то бы их всех перекосил из автомата. И Янки проклятые сжег бы дотла» [5, С. 93].

Этот короткий рассказ является всего только своеобразным эскизом, пунктирным наброском сложной и многоплановой морально-этической и социально-психологической проблемы. Автор, видимо, и не задавался целью психологически развернуть главную сюжетную линию произведения. Такие сложные проблемы нуждаются все же в более широком и свободном эпическом жанровом пространстве. Однако вопрос поставить писателю удалось. И вопрос непростой: имеет ли человек право при всех его немалых за-

слугах перед своим временем брать на себя какую-то абсолютизированную роль судьи и прокурора в другом, изменившем свой социально-психологический облик времени?

Подобные вопросы остро встают сегодня неслучайно: целый ряд из них продиктован и актуализирован самим процессом общественной жизни, который во многих своих ответвлениях все еще находится на переходной стадии развития. А в такие периоды альтернативность и полифонизм мыслей нередко приобретают заостренно полемический характер, когда *второстепенное* зачастую пытается занять место *главного* и заметно снижается возможность компромиссов и взаимоприемлемых подходов к решению тех или иных проблем и сложных вопросов. А это, как известно, «не работает» ни на пользу общества, ни на благо отдельного человека.

По-своему интересно и оригинально воплощает в себе такую идею романтическая драма «Блиндаж» известной русскоязычной писательницы Беларуси Е. Поповой, которая, по-видимому, не без влияния шекспировского «Гамлета» побуждает нашего современника глубже задуматься над тем, насколько *это* серьёзная и болезненная драма в жизни народа, когда на крутых поворотах его истории где-то рвутся, нарушаются или ослабляются важные звенья временной связи. В произведении сталкиваются два взгляда, две морально-этические и мировоззренческие концепции — людей войны, военного поколения и молодых людей нашей современности.

Симпатии автора, как можно судить, более открыто и определенно направлены в отношении первых, которые, несмотря на определенные проявления консерватизма в своих оценках и рассуждениях, представляются натурами цельными и самое главное – не склонными легко поддаваться на притягательную и заманчивую силу прагматизма и запросто, без особых раздумий и глубоких переживаний расставаться с духовным потенциалом прошлых времен. Как замечает один из персонажей, представляющих это поколение людей, современность и будущее не пропадают бесследно и сосуществуют «вперемешку. Время – хитрая штука, много в нем разных завихрений, уголков, карманчиков… Бывает тянется, тянется, а всего секунда и прошла». А бывает, прыг-скок — и года нет… Главное

— оно не исчезает, нет в нем никакого прошлого, и будущего нет, все вперемешку. Все хранится, как деньги в банке» [6, С. 79].

А вот молодая героиня драмы «Блиндаж», спортсменка Марина, воспринимает и трактует *новизну* времени совсем по-иному, замыкая свой главный жизненный интерес в жесткие границы вещизма и прагматизма. Послушаем её саму, когда она характеризует себя намного более мудрой и умной, чем ее предшественники, участники прошедшей войны, которые будто бы безнадежно «застряли» в старом времени: «Вы тут застряли, а нам какое дело? У нас уже всё другое! И никаких там ваших скромных платочков! Мы все другое любим! Мы музыку другую любим! Всё, все другое! Мы – другие, мы хотим хорошо жить! ...И на всех остальных нам наплевать, да, наплевать! На все ваши Испании, на все ваши Герники!» [6, С. 80].

Писательница тут заостряет, преувеличивает и где-то даже гиперболизирует само явление несогласия и полемичности между поколениями, между старым и новым временем. Однако такой литературный прием в данном случае себя оправдывает. Автор, конечно, не имеет ничего против желаний и стремлений тех молодых людей, которым хочется жить красиво, интересно, со вкусом. Да мы уже и действительно прошли тот малопродуктивный этап нашей истории, когда социальный статус *бедняка* считался основным, а подчас и важнейшим критерием в определении позитивной характеристики человека. Однако возможно ли попасть в это новое и светлое время, имея одно лишь страстное, пусть даже и искреннее желание войти в него, не приложив напряженных усилий в его построении и проявляя индифферентное, негативное отношение к его духовно-интеллектуальным общечеловеческим основам? Такой вопрос вытекает из подтекста произведения, а иной раз он принимает характер открытой публицистической формы и адресуется не только читателю, но и отдельным писателям, которые, безусловно, не могут не понимать, что упрощая диалог с прошлым, во стократ усложняется поиск оптимальных путей и выходов в сегодняшний и завтрашний день. Всё это вроде бы общеизвестные, прописные истины. Вместе с тем «игра в поддавки» с прошлым продолжается и теперь. Притом «игра» с такими его составляющими, которые вы-

верены на прочность и живучесть богатым и продолжительным историческим опытом.

Нам, кстати, казалось абсолютно бесспорной истиной существование и бытование реализма как эстетической, методологической и художественно-образной системы в истории мировой и национальной литературы и искусства. Тут вроде даже и неудобно ссылаться на многие широко известные высказывания о роли, месте и значении реализма таких авторитетов, как О. Бальзак, И. Репин, Л. Толстой, М. Шолохов, А. Пушкин, Я. Колас, К. Чорный, И. Мележ и др. А вот наш современник и в определенной степени популярный литератор А. Глобус считает, что никакого реализма вообще никогда не было ни в литературе, ни в искусстве. Такую мысль высказывает он, например, в миниатюре «Реальность», вошедшей в цикл таких же лаконичных произведений-зарисовок под общим заглавием «Вещь. Слова о путешествии по странам и возвращении с обновами»: «Реализм? — ставит он вопрос и отвечает: «Нет! Никогда не было никакого реализма в литературе и искусстве. Была содержательная форма, была художественная реальность. Если бы существовал реализм, так не было бы никакого иного стиля. А они есть. Готика реальная и романтизм такой же реальный, как и классицизм. Рассуждения о реализме — *цветистость пустословия* (курсив наш — *В.Ж.*), а я люблю плоды сочные, как и моя теперешняя жизнь» [3, С. 77].

Довольно странная логика. Не так ли? Хотя автор, как видно, никаких возражений здесь не допускает, однако позволим себе все же не согласиться с той его какой-то странной, самонадеянной и малопонятной мыслью о том, что «если бы существовал реализм, то не было бы никакого иного стиля». Как будто бы реалистическая *коласовская* «Новая земля» являлась когда-то помехой написанию, появлению в свет и бытованию романтической поэмы того же автора «Сымон-музыкант» или его же символико-аллегорических «Сказок жизни»?! А разве романтическая поэма А. Пушкина «Руслан и Людмила» были препятствием на пути создания или существования повести «Капитанская дочка»? Надо полагать, и лермонтовские «Демон» и «Мцыри» тоже мирно, дружелюбно и взаимодополняемо долгие годы сосуществуют и диалогизируют в творческой системе

писателя и в общем литературном контексте. И таких примеров можно привести множество.

Да и сам А. Глобус, кстати, в том же названном цикле прозаических миниатюр, решительно отрицая бытование реализма как художественной системы в прошлом и на современном этапе, настраивает себя на довольно-таки реалистический и даже прагматичный лад мышления, чтобы, как он замечает, «не угодить в западню иллюзий». Это признание необходимости трезвого, объективного оценочного подхода и взгляда на существующую конкретику жизни является своеобразной формой признания правомерности и необходимости бытования реалистической методологии, направленной на показ человеческих характеров и отображение социально-психологической атмосферы времени.

Понятно, я совсем не склонен выступать в поддержку тех одномерно-теоретических трактовок реализма, согласно которым высший уровень правдивости и художественности проявлял себя не иначе, как способами и приемами отражения жизни в формах самой жизни или в раскрашенных в розовые тона и оттенки формах иллюзорно-утопического идеала, чем нередко грешили многие произведения так называемого социалистического реализма. Однако заключающая в себе позитивную созидательную энергию критическая тенденция может превратиться в серьезный консервативный тормоз, если, что-то отрицая и отвергая, начинает абсолютизировать свое значение и роль. Крайности сходятся. Критикуя и отрицая идеализацию и схематизацию социалистического реализма, некоторые критики, литературоведы да и сами писатели несправедливо зачеркивают реализм как художественную систему, чрезмерно высоко поднимая между тем литературную парадигму мифологизма, символизма, ну и, конечно же, постмодернизма. А людям по-прежнему хочется знать, кем они были вчера, кто они сегодня и в *какой* завтрашний день поворачивается вектор их собственной судьбы и общественной жизни страны.

Вообще, каждый нормальный человек, а значит, и читатель, как бы не увлекали и не пленяли его воображение оригинальные изобретательства в области техники письма и «игра» художественных приемов в литературе, вероятно, не может, руководствуясь хотя бы

логикой здравого смысла, оставаться безучастным и равнодушным в отношении реального положения вещей и видения мира «таким, каков он есть в действительности». Эти взятые в кавычки слова были не так давно сказаны известным ученым-социологом, членом-корреспондентом НАН Беларуси А.Н. Даниловым при обсуждении проблемных вопросов гуманитарной науки. На его взгляд, ученым-гуманитариям, кроме всего, следует, также «больше полагаться на данные, полученные при реальном наблюдении мира, и меньше — на утопии» [2, С. 14-15]. Согласимся, что генерализация утопий и, в частности, утопий, ориентированных не на развеивание жизненного тумана, а на его сгущение, не может быть признана перспективной линией и в литературе. Суровой прозе реализма здесь, безусловно, есть еще где развернуть свою эстетическую, жанрово-стилевую и изобразительно-познавательную энергию.

Художественная литература во многом эволюционирует, движется и развивается по своим, присущим ей имманентным законам. Хотя литературная теория определенным образом и влияет на ее динамику, последнее и решающее слово в выборе ориентации художественной мысли и главного объекта отображения остается за писателем. Накоплен в этой сфере творческой работы и огромный опыт. Высокий уровень художественности литературного произведения, как подтверждают данные этого опыта, во многом определяла, кроме всего, та *составная* писательского таланта, которая чутко настраивалась на больные вопросы и тонкие струны человеческой души. Отсутствие этих данных в мировоззренческом мире писателя и характере его таланта невозможно компенсировать никакими, даже самыми виртуозными приемами. Правда, некоторые современные писатели такую возможность за собой вроде бы оставляют, когда пишут следующее: «...Голь и босяков ненавижу!!! Брезгую мнением нищих и голытьбы. Деньги — измерение талантливости и мудрости. Еще я не верю богатым и сверхбогатым людям, когда они публично заявляют о своем сочувствии голодранцам...».

Мы вновь процитировали А. Глобуса, сославшись на его миниатюру «Богатые и бедные», опубликованную в 1-ом номере журнала «Маладосць» текущего года. Ну и какой здесь может быть комментарий? Ограничимся самым кратким резюме: становится как-то тя-

гостно и грустно оттого, что эти слова, сказанные с каким-то подчеркнутым высокомерием, мы слышим из уст писателя, который, казалось бы, самим внутренним законом и природой своей профессии призван быть поборником правды, гуманизма и защитником человека, в том числе и человека, который по разным и часто мало зависимым от него причинам попадает в тяжелое, бедственное положение и может даже очутиться на дне жизни. Не будем забывать и о таких людях. Кажется, об этом напоминает нам и сам Пушкин:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Созвучные этому тексту мысли мы можем найти и в ряде произведений наших классиков — Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, З. Бядули и др.

Как пойдёт развитие литературного процесса в дальнейшем, с определенной точностью предсказать трудно. Хотелось бы верить всё же, что из того многообразного и далеко не бедного на золотые крупинки «звездного вещества» (слова О. Лойко) современной литературной мозаики с течением времени выкристаллизируется зрелая, глубокая и разветвленная жанрово-стилевая эстетическая тенденция, которую будут представлять яркие писательские имена. А именно они всегда являлись и главными выразителями своего времени, генераторами новых идей и наиболее авторитетными прокладчиками путей и тропинок в день завтрашний. А пока что тяжесть такой ответственности во многом все еще несет заметно поредевшее, к сожалению, поколение писателей знаменитой генерации «шестидесятников». Отчетливо и неповторимо звучат у большинства из них индивидуальные художественные голоса, неизменно ориентированные на связь с плодотворной национальной и мировой гуманитарной традицией и в крупномасштабных жанровых формах, и в жанре рассказа. Такие их, в частности, произведения малой жанровой формы, как «Три пуда ржи», «Осколок от звезды» И. Пташникова, «Поздние яблоки», «Кукушка прокукует

завтра» А. Кудравца, «Супонь», «Башмаки для Бауэра», «Электрошокер» В. Зуенка, «Рядом с царями», «Наши хаты» Я. Сипакова и др. являются талантливым высокохудожественным примером человековедения и жизнепонимания, отличаются тонким и вдумчивым гуманистическим вниманием к судьбам простых, рядовых людей, которым разные жизненные невзгоды нередко более препятствуют и противодействуют, нежели благоприятствуют и помогают. Большинство этих и других произведений, написанных в последние годы, преимущественно обращены своими основными проблемными и сюжетно-тематическими линиями в военное прошлое. Однако звучат они по-современному актуально и злободневно, так как прошлое и современность внутренних психологических связей и сцеплений между собой здесь не порывают, хотя нередко и находятся в очень сложных конфликтно-полемических взаимоотношениях. Только в такой системе взаимодополняющих связей одно какое-то историческое время и может рассчитывать, конечно, на определенные формы контактов и диалогических встреч с другим временем. Для современного писателя совсем небесполезным будет внимательно прислушаться к словам известного физика и математика Н.Винера: «Очень интересный мысленный эксперимент — вообразить разумное существо, время которого течет в обратном направлении по отношению к нашему времени. Для такого существа никакая взаимосвязь с нами не была бы возможна. Мы можем сообщаться с мирами, имеющими такое же направление времени» [1, С. 995].

Эти слова, сказанные в отношении понимания и освещения глубинных законов физики, во многом соотносимы, на наш взгляд, и с литературными законами. Для современного писателя чрезвычайно важно в *прошлом* найти то, что не разъединяет и обособляет нас с ним, а настраивает на диалог. И тогда, вероятно, мы станем более терпимыми, внимательными и взвешенно-аналитичными в своих оценках и подходах ко всему тому, что уходит в прошлое, отдаляется от нас и становится историей.

Литература

1. Всемирная энциклопедия. Философия. М., 2001.
2. *Данилов А.Н.* Гуманитарные науки и образование в переходный период. Мн., 2000.
3. Маладосць. 2006. № 1.
4. *Моэм С.* Луна и грош. Театр. Рассказы. М., 1983.
5. Полымя. 2005. № 11.
6. *Попова Е.* «Блиндаж» // День победы. Пьесы современных белорусских и российских авторов. Мн., 2005.

Л.Я. Гаранин (Минск)

Экзистенциальные аспекты белорусской прозы о Великой Отечественной войне

Своеобразие белорусской прозы о Великой Отечественной войне последних десятилетий XX века состоит в том, что она сосредоточила главное внимание на трагедии военных лет, выпавшей на долю белорусского народа и стоявшей для него огромных человеческих жертв.

В силу этого многие произведения о войне, художественные и документальные, характеризуются стремлением писателей выйти за грань традиционного реалистического описания исторической реальности и подняться на уровень её экзистенциального осмысления. Таково творчество В. Быкова, А. Адамовича, отчасти В. Козько, С. Алексиевич, И. Пташникова и некоторых других авторов.

Принципы экзистенциалистской философии в литературе пришли к нам с Запада, но это не означает, что они не присутствовали в недрах самой белорусской литературы, хотя во многом и отличались и отличаются от западноевропейских.

При определении экзистенции как философской категории, отражающей конкретный характер бытия, учёные, как правило, обращают внимание на её фундаментальную онтологическую специфику как противопоставление духовного человеческого бытия бытию житейскому, вещному [1. С. 753].

Вследствие незавершённости человеческого существования (пока он живёт, пока он есть), происходит постоянный выбор человеком возможностей своего бытия, его доопределение, что открывает перед ним свободу выбора.

Иными словами, из высказываний западноевропейских философов следует, что экзистенция характеризует такое состояние человека, при котором он находит в себе то, чего не находит нигде в мире.

Данная характеристика, как показывает практика жизни и, в частности, опыт белорусской литературы, страдает односторонностью, поскольку строится на основе абсолютизации субъективного фактора в природе человека, не затрагивая его объективных компонентов, которые неизменно здесь присутствуют и оказывают влияние при выборе человеком своих возможностей существования, то есть участвуют при свободе выбора.

Это означает, что субъективный фактор, хотя и доминирует при выборе человеком своих возможностей, действует, включая и объективные компоненты, то есть влияние его не абсолютно, он как бы «болен» объективностью, «чувствует» её «берега».

Речь в данном случае идёт о родовой сущности человека, которая проявляется в комплиментарном чувстве человека к себе подобному или какому-либо другому родственному существу, о нерасторжимости его связей с окружающим миром, что закреплено в его сознании и подсознании (экзистенции).

Экзистенция, как она выступает в произведениях белорусских писателей о войне, это родовое, комплиментарное чувство, проявляющееся через коммуникацию, т. е. своеобразный «магнетизм», влекущий человека к человеку, человека — к окружающему миру, вследствие чего между ними устанавливается тесная связь, некое контактное поле, обусловленное природой человека.

И чем ближе человек к человеку по крови, по этническому происхождению, условиям жизни и т.д., тем эта связь крепче, прочнее, тем тяжелее, разрушительнее действует на него её разрыв.

Вот примеры такого разрыва из книги А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника «Я из огненной деревни…».

Рассказывает Мария Фёдоровна Кот из деревни Великие Прусы Копыльского района. Немцы собрали всю семью в дом, женщин, детей, подростков на расстрел. Крик, плач, вопли, трудно пересказать такую сцену. Наконец, стрельба кончилась, каратели вышли из глинобитки. И тут поднимается один мальчик и идёт к порогу.

«Дай же я погляжу, кто там шлёпает, — думает Мария Фёдоровна. — Глянула, а это ж мой хлопец! Дак я говорю:

— Жоржик, куда же ты, дитятко моё?

А он говорит:

— Мама, а вы живые? Хотел - нехай и меня!..

— Живая, дитя моё… Иди, дитятко, ложись на это самое место. Може, оно счастливое, може, мы и останемся» [2; С. 336].

Это ребёнок, он боится одиночества, он не хочет, не может жить без матери. Он даже не может представить, что будет дальше, если вся его семья лежит мёртвая.

А вот другой случай, из той же книги. Рассказывает Акулина Семёновна Иванова, из деревни Рудня Витебской области, как её допрашивали, били, заставляли есть песок. «Где твой муж? Говори!» А она не говорила. Тогда её вместе с детьми подвели к картофельной яме и по очереди начали стрелять.

«Ничего не помню. Помню, что вылезла: «поползу топиться в речку». Это я помню. А тогда уже, как свалилась, подниму голову — не могу. Я ж не знала, что я прострелена …» [2; С. 211].

Она думала о смерти, искала смерть, потому что мать, и не могла, не хотела жить без детей, которых убили на её глазах, и они лежали тут же, в яме.

В книге приводятся и другие случаи, когда рассказывается не о родных и близких, а об убиваемых карателями односельчанах, о жителях других деревень, жизнь без которых для нее теряла смысл.

Тэкля Яковлевна Круглова, из городского посёлка Октябрьский, свидетельница того, как немцы уничтожали весь район, деревню за деревней. И её убивали дважды. Она рассказывает о своём чувстве после всего пережитого.

«Лежала я в канаве. Так и осталась… Я лежала, лежала да и думаю. Пойду я в Рудню, там же у меня знакомые, может, меня кто спрячет. Может, там живые люди остались.

Встала я. Хоть бы где кот, или какой воробей, или что на целом свете — всё… Это такая тишина. А може, я только одна на свете осталась?..

Дак я думаю, нехай эти немцы или пристрелят меня, или что уже… А то как я буду жить одна на свете» [2; С. 44].

Сознание крайнего одиночества, как мы видим, смертельный страх остаться одной на белом свете повергает человека в ужас. Смерть на него наступает уже не извне, а изнутри. Таково веление запредельных, неведомых человеку сил, свидетельствующих о предельном экзистенционировании человеческой души.

«Новые лица, имена, голоса, судьбы, — пишут авторы в послесловии к рассказу Параски Ивановны Луцкой из деревни Первомайск Речицкого района Гомельской области. — Уже новая семья у человека, дети, их чаще всего ровно столько, сколько убитых, и всё есть, что требуется живому, но вдруг после рассказа вырвется: «Осталась я, а зачем? После того?» [2; С. 78].

А вот другой аспект проявления экзистенциального начала в белорусской литературе о Великой Отечественной войне. Это можно проследить на творчестве А. Адамовича, в частности его повести «Каратели».

Объектом художественного осмысления здесь стали люди, оказавшиеся за барьером человечности, как говорится, продавшие свою душу дьяволу.

Начинает писатель с того, что скрупулёзно, шаг за шагом, прослеживает действие гитлеровского механизма расчеловечивания человека, превращения обычных людей в профессиональных убийц, садистов и палачей.

Механизм этот, в общем-то, довольно прост: под угрозой смерти человека заставляют убить другого человека, чаще всего беззащитную женщину, старика, ребёнка. «Сам должен выбрать из сидящего над обрывом человеческого ряда, в кого будешь стрелять, — такое правило для новичков у Дирлевангера. А он стоит здесь же, близко, смотрит, сколько «мишеней» выбрал, «использовал». Двоих приказано, обязан, а больше - на твоё усмотрение. Сколько выберешь — столько стоишь в глазах немцев! И это тотчас оценивается — сигаретами… Те, кто уже отстрелялся, стоят, верят и не верят в то, что делали и что с ними сделали, сделалось.

«Дядя, скорей!..» В кого, в кого?! всё кричит в тебе… А кто-то твоей рукой вдруг стреляет в дрожащий над острыми тёмными позвонками детский затылочек. И уже ничего не может быть. Ничего!» [3; С. 254].

Так произошло с Белым, Николаем Афанасьевичем, 1920 года рождения, русского, из села Бахчёвка Красноярской области. «Тогда, в Каспле молил, уговаривал мальчонка: «Дядя, скорей!..» Выстрелил в него, а попал — в кого попал? Был на свете такой человек, Белый Николай Афанасьевич — нет его больше» [3; С. 255].

Таково действие этого механизма. А чтобы он работал исправно, гитлеровская машина по уничтожению людей устроена так, что, убив раз, человек должен всё время убивать, выкупая тем самым свою собственную жизнь. Потому что сам он — орудие смерти, и если отказывается работать, его самого уничтожат. На этом держится «новый порядок» в Европе и оккупационный режим на захваченных территориях на Востоке.

Но, прослеживая действие этого механизма, писатель вдруг замечает, что он даёт сбои. Что-то «мешает» его ритмичной работе, случаются какие-то непредвиденные остановки. Что мешает? Какие остановки? Ну, конечно, бывают разные обстоятельства: кто-то притворился мёртвым и остался жив, кто-то сумел спрятаться, кто-то убежал, не гнаться же за ним по лесу… Но бывают случаи, показывает писатель, когда «мешает» именно …сущностная природа человека, его экзистенциальное чувство.

Вот один из таких примеров. Тупига, Иван Евдокимович, 1920 года рождения, семь классов… Это надёжный кадр из отряда Дирлевангера, он «работает» чисто, чётко, достреливая уже расстрелянных людей в яме в Первом посёлке деревни Борки Кировского района Могилёвской области. Не успел довести последнюю очередь, как прибежал Сиротка: их вызывает Дирлевангер.

И вот втроём, он, Доброскок и Сиротка, бегут по полю. Вдруг видят, появилась из кустов женщина, словно выросла из земли, а с ней дети.

— О, привет, хайль! — закричал Сиротка.

А она уже лопочет, что не виновата, что у неё дети — сироты, а мужа нет.

— Я сам сирота! — радуется дурная Одесса (Сиротка) и смотрит на Тупигов пулемёт, на Тупигу: для тебя, мол, постарался, выковырял — работай!

— А может, Доброскока подпустить раньше, а, Тупига? Арбайтен, мужички!

И пошагал, злодюга. А Доброскок сторонкой, сторонкой - следом за ним. Чуть что, скажут: Тупига оставался последний, ему и свет гасить. Ах, вы!..

— А ну, на землю! Ну, что раскудахталась? Ниц ложись!

А те убегают и весело оглядываются, ждут, когда же загремит музыка…

— Даёт, во даёт! — старается перекричать пулемёт Сиротка. И Доброскок повернулся и смотрит на стреляющего Тупигу, но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь» [3; С. 229–230].

Стрельба кончилась. Тупига догнал товарищей. «Нет, пойду гляну! — сорвался назад Сиротка, но Тупига перегородил ему дорогу.

— Ты куда, лев? Ухватить что-нибудь, на готовенькое?

— А тебе какое?...

И тут грохот! Рожь справа от Сиротки побежала…

— Псих, Тупица! Доложу кому следует! Думает, всё может, раз он дурак! Да за меня бы тебя, да знаешь!..

Тупига аж вспотел: так перепугал его Сиротка. Он мог добежать до малинника и увидел бы, что баба и весь выводок живы-здоровы. Узнали бы, что Тупига поступил как трус и размазня. Вроде очкарика… Тупига сам не знает, как и почему так получилось: весь малинник выкосил, жито вокруг, а бабу и пацанов обошёл» [3; С. 230].

Примечательны слова писателя: «Тупига сам не знает, как это получилось». Но не стоит особого труда их расшифровать. Одно дело, когда над человеком висит смерть и он выкупает свою жизнь убийством другого человека, другое дело, когда он обладает хоть какой-то свободой и в нём просыпается нечто от родовой общечеловеческой природы. Одно дело, когда он не смотрит на людей, на их глаза, когда их расстреливает, другое дело, когда они смотрят на него в упор. Тут разговор идёт не словами, а человеческими сущностями, которые вдруг ощутили друг друга и между ними установилась связь, возникло контактное поле.

И это заглушило все другие голоса: и страх перед приказом, и желание «честно» работать, и ощущение того, что опасность стоит

рядом: вот они, Доброскок и Сиротка, могут узнать, что произошло и доложить начальству.

Такие штрихи в поведении людей, показывает писатель, проявились не только у Тупиги. Сущностные, родовые человеческие черты характерны в поведении и Белого, и Доброскока, и Багрии. Поэтому как ни хитро задумана гитлеровская машина по уничтожению людей, ей всегда что-то «мешает», что-то срывается в работе её механизма, что в конечном счёте приводит к тому, что жизнь побеждает смерть.

В «Хатынской повести» А. Адамовича мы видим нечто подобное, но здесь экзистенциальное чувство выявляет себя как бы с другого конца. Сами каратели оказываются в положении, когда решается их судьба, жить им или не жить, и теперь уже не их жертвы, а они сами ищут спасения или хотя бы какого-то смягчающего обстоятельства на пути апелляции к родовой сущности человека.

Но теперь уже не это становится главным в повести, в решении автором проблемы свободы воли, свободы выбора, а то, что приходится делать человеку, на что надеяться, когда обстоятельства настолько сильны, что он лишён всякой свободы действий, и главное для него теперь — остаться самим собой, человеком, не изменить своей родовой сущности. А останется он живым или нет, это уже — дело случая.

Это такое состояние человека, когда интуиция и воля, сознательное и бессознательное сливаются воедино, где одно обусловливает другое.

Но начнём по порядку как это представлено в повести писателя.

Молодой партизан, Флёра Гайшун, пробираясь ночью по лесу, забрёл в незнакомую деревню. Но по утру её окружили немцы, согнали всех жителей в амбар и собираются его поджечь. Вдруг в окно просунулась голова и послышался голос: «Без детей — выходи. Можно, кто без детей» [3; С. 115].

Вот вылез один. За ним потянулся и Гайшун. Его подтолкнули сзади и вот он на улице. И тут он увидел, кто руководит акцией: у колодца стоял пожилой лысый офицер, выбритый до глянца, в золотых очках, и на плече у него обезьяна. «Глаза наши встретились, —

вспоминает Гайшун, — мои, его, обезьянки. Он рассматривает меня с любопытством» [3; С. 116].

Потом в проёме окна показалась девушка, она подняла руки, чтобы принять ребёнка. Но сразу вздрогнули каратели, будто произошло что-то невыносимое. К ней бросилось сразу несколько солдат. Они начали вырывать ребёнка, запихивать его обратно в окно, а её, плачущую, оттащили к колодцу. «А тот, с обезьяной, теперь девочку, как недавно меня, проводил любопытным взглядом, кажется, ему всё было понятно» [3; С. 117].

И вот акция расправы закончена. Над деревней клубы дыма. А по улице идёт стадо коров и его невольные погонщики: мальчишка лет десяти, Флёра Гайшун, девочка с заплаканными глазами, у которой вырывали ребёнка, и ещё какая-то старуха с чёрными, высохшими руками. За ними шли полицаи, за полицаями — немцы. Офицер с обезьяной ехал в машине.

Гайшун, предчувствуя, что что-то неизбежно произойдёт, велел мальчишке держаться с ним рядом.

И правда, их ждала засада партизан. Бой был стремительным и коротким. Несколько полицаев было убито, другие разбежались, а немцы попали в плен. И теперь судьба их переменилась. И первое, что заметил Флёра Гайшун, это стремление их снискать расположение партизан, хотя бы внешне, так сказать, предварительно. Потому что после содеянного рассчитывать на пощаду им не приходилось.

И вот этот лысый, близорукий офицер кого-то ищет. «... кажется, что меня, — подумал Гайшун. — И словно бы с надеждой какой-то... Всё-таки у него тут знакомые!» [3; С. 173]. Такой парадокс! Даже не верится, что такое может быть: ещё пылает деревня, люди горят в амбаре, там и мальчик, которого вырвали из рук девочки, а они на что-то надеются. И лысый офицер уже играет с обезьянкой, надеясь привлечь внимание партизан. Вот когда проснулась их человеческая душа! Там, в деревне, они себя чувствовали «воинами», исполнявшими свой «воинский» долг, а здесь, видите ли, ощутили, что они люди и надеются на ответную реакцию партизан, на чувства взаимного притяжения...

Но то, что они растеряли всякие человеческие начала, писатель показывает в другой сцене, когда «не немцы», видимо, голландцы

убивают винтовками без затворов немцев, чтобы спасти свои души и партизаны длинными очередями кончают эту позорную сцену.

Персонажи повестей А. Адамовича, как мы уже отмечали, в своём подавляющем большинстве лишены свободы выбора. Обстоятельства для них складываются столь неблагополучно, что главное для них остаётся — выстоять, удержаться на грани возможного, пока не сменится ситуация.

Таково поведение Гайшуна в «Хатынской повести», тех сотен людей, которые оказались блокированными в деревне Борки из повести «Каратели». Не говоря уже о сотнях и тысячах людей из книги «Я из огненной деревни...».

В. Быков проблему человеческой судьбы, свободы воли, свободы выбора решает в иных условиях. Характерным для героев его произведений является то, что они поставлены обстоятельствами на грань жизни и смерти, но при этом не лишены свободы действий, пусть и ограниченной. Определяющим фактором их поведения выступает сознание, объективированное в тех или иных моральных и социальных категориях: верности воинской присяге, воинскому долгу, чувству личной ответственности за общее дело, за судьбу своих товарищей и т. д.

Этими категориями прежде всего и определяется круг проблем, которые решает писатель, стремясь проникнуть в глубины человеческого сознания, определить движущие мотивы поведения своих героев.

Первые повести писателя «Журавлиный крик», «Мёртвым не больно», «Атака с ходу» и др. строятся на принципе верности героев воинской присяге, чувству воинского долга и на этой основе — прочности их человеческих отношений, незыблемости моральных принципов, идущих из глубин исторического бытия народа.

Таковы старшина Карпенко, солдаты Фишер, Свист, Глечик из повести «Журавлиный крик», лейтенант Василевич («Мёртвым не больно») и др. Стремление во что бы то ни стало выполнить боевой приказ и определяет характер их поведения, ту ограниченную свободу воли, которой они обладают и которая позволяет им не изменять своей человеческой природе.

Последующие произведения писателя: «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Его батальон» акцентируют внимание на ещё более предельной, кризисной ситуации, когда героям не остаётся никакого другого выбора, кроме как жертвовать своей жизнью во имя выполнения боевого задания или, как в провести «Обелиск», во имя утверждения нравственных принципов жизни.

Такое поведение героев принято называть парадигмами человеческого поведения, когда человек идёт на жертву ради принципа, доказательства правоты своего дела в сознании современников и потомков.

Здесь коммуникативная связь между людьми устанавливается как бы на расстоянии: они узнают друг друга по поступкам и это сближает их, делает людьми общей человеческой судьбы.

Таким поступком и характеризуется поведение учителя Алеся Ивановича Мороза из повести «Обелиск», который добровольно пришёл в полицейский участок, чтобы морально поддержать своих питомцев, а заодно и разоблачить лживые обещания полицаев, что они выпустят учеников его школы, обвиняемых во взрыве моста, если он сам придёт к ним с повинной.

В повестях последних лет «В тумане», «Полюби меня, солдатик» и других писатель ещё более сужает поле свободы воли своих героев. Им ничего не остаётся делать, как примириться с обстоятельствами. Но и здесь они делают последний выбор, последний жизненный шаг (на грани сознательного и бессознательного — экзистенции): добровольно идут на́ смерть, так как жить в сложившихся условиях для них невозможно, они для них неприемлемы.

Наглядно это можно проиллюстрировать на повести «Облава», где рассказывается о периоде коллективизации в нашей стране.

Эта повесть знаменательна тем, что в ней экзистенциальное чувство героя имеет широкое поле действия, оно распространяется не только на людей, но и на окружающий человека мир, то есть проявляется как универсальное человеческое чувство.

Главным героем повести выступает крестьянин Федор Ровба, раскулаченный в период коллективизации и сосланный вместе с семьёй на Север. Там, на Севере, в неимоверно тяжёлых условиях умерла его жена и дети. Так оборвались в нём живые связи со всем,

что ему было близко и дорого в этой земной юдоли. Такова была судьба многих сотен и тысяч людей того времени, замечает писатель. «Распадались семьи, рушились кровные человеческие связи. Братья становились чужими. Такое настало время» [5; С. 138].

И вот гонимый обстоятельствами, Ровба решил посетить родные места, а может, кого-то и встретить. У него ещё был сын Николай, но он жил в городе, и Ровба решил его не беспокоить, чтобы не навредить ему.

По подложному документу, тайно, он прибыл в родные места, но никого из знакомых не встретил и даже дома его уже не было, его растащили на брёвна. А вскоре люди проведали, что он бродит по округе и власти начали на него охоту.

... Затравленный, он уже не бежал, а едва тащился краем тёмного леса. «Они уже были где-то поблизости... Их несколько десятков, мужиков и красноармейцев. Они обложили лес с трёх сторон...

— Ровба, стой!

Ну, вот наконец... Невероятный бессмысленный маршрут — за тысячу вёрст на родную землю. Неласково же она встретила своего сына, родная его земля!, — замечает писатель. — Ну да Бог с ней, другого и быть не могло. Видно, такова судьба» [5; С. 138].

И он наверное ещё бы долго бежал и спасался, а может быть, пересидел бы в болоте, по горло в холодной осенней воде, и его бы не нашли преследователи, если бы не услышал слова: «Лещук, вон там пырни!» Это были слова его сына, Миколки. «Счастливая Ганулька, она уже не увидит такого», подумал он и отпустил корягу, за которую держался. Намокшая одежда и тяжёлые лагерные бахилы потянули его на дно.

Как видим, душевное состояние героя напоминает рассказы людей из документальной книги «Я из огненной деревни». Там убивали немцы. И люди, оставшись одинокими, не хотели жить. Здесь человек не может жить, потому что оборвались его родовые связи с сыном, можно считать, со всем человечеством, со всем окружающим его миром. Круг замкнулся, таково веление человеческой экзистенции.

Проблемы экзистенциального подхода в художественном освоении исторической реальности проявились не только в творчестве

названных писателей и не только в раскрытии темы войны. Это характерная черта всей белорусской литературы, особенно после чернобыльской аварии, о чём свидетельствует творчество многих современных авторов. Так что, можно сказать, мы стоим на пороге нового этапа в осмыслении этой темы, и прежде всего духовно-экзистенциального.

Литература

1. *Тузова Т.М.* Экзистенция // Всемирная энциклопедия. Философия. М.; Мн., 2001.
2. *Адамович А., Брыль Я., Колесник В.* Я из огненной деревни. Мн.: Маст. лит., 1977.
3. *Адамович А.* Хатынская повесть. Каратели: Радость ножа или жизнеописания гипербореев. Мн.: Маст. лит., 1977.
4. *Быков В.* Повести. М., 1975.
5. *Быков В.* Облава // Новый мир. 1990. № 1.

М.А. Тычина (Минск)

Великая Отечественная война в произведениях современных белорусских писателей

Проблемное поле современной белорусской литературы о войне определяется ее стремлением выработать целостно-обобщенное знание о человеке и мире в экстремальной ситуации. Происшедший в конце XX и начале XXI веков информационный взрыв разрушил прежний социально-классовый взгляд на прошлое и открыл содержательное пространство для новых знаний о войне.

Процесс эстетического осмысления мира в состоянии войны, человека в ситуации нравственного выбора и проблемы взаимоотношений человека и мира, анализа различных форм и типов этих отношений, который начался еще в эпоху Миколы Гусовского («Песня о зубре»), пережил пик своего творческого взлета в экзистенциальной прозе Кузьмы Чорного и Василя Быкова, в условиях постсоветского переходного периода приобрел черты мировоззренческого кризиса. В современной белорусской литературе о Великой Отечественной войне происходит отказ от амбиционных претензий авторов военных произведений, прежде всего авторов романных сериалов, создать современную «Войну и мир», и основной акцент переносится на заполнение лакун исторического знания, художественное переосмысление классической традиции, стремление выдвинуть на первый план проблему существования «человека-в-мире», интенциональной погруженности сознания в глубины подлинного бытия.

Именно эти теоретические ориентации современного литературоведения задают параметры эстетической рефлексии и творческого поиска, создают возможность преодоления мировоззренческого

кризиса и успешного состязания с массовой литературой за влияние на читателя, демонстрируют стремление выявить огромные ресурсы образного слова на фоне разговоров о «девальвации языка», о преимуществах «визуального искусства», о превосходстве «языковых игр» над всеми иными функциями художественной литературы — познавательной, информационной, эстетической, воспитательной, коммуникационной, занимательно-игровой.

В середине 80-х годов XX ст. произошла смена литературного цикла. В обществе возник лихорадочный спрос на новые нравственные и эстетические ценности. В белорусской литературе этот процесс заявил о себе в «открытии действительности», в погружении в глубинные основания человеческого бытия в мире, в котором не исчезла угроза ядерного конфликта, усилился экологический, антропологический, социокультурный кризис.

Эпоха войн и революций в очередной раз поставила белорусов на передний край борьбы добра и зла, света и тьмы, знания и беспамятства. Перемены коснулись и традиционной в белорусской литературе эстетической сферы «военной прозы», которая, наряду с «деревенской прозой», несколько предшествующих десятилетий определяла национальную специфику художественной литературы, ее место в сознании многонационального читателя бывшего Советского Союза.

Переход к «новому мышлению» осуществлялся постепенно. Еще действовали мощные стимулы, исходившие из предшествующего периода до крайности политизированного национального сознания и ангажированной литературы. Старое и новое, политика и эстетика создавали странный образно-публицистический симбиоз. В творчестве «шестидесятников» сильна инерция прежних этических и эстетических императивов. Социализм с «человеческим лицом» построить так и не удалось. Многие эпические замыслы (сериалы, циклы, построенные по образцу «Тихого Дона») с трудом вписывались в новый поворот истории. Появились признаки «усталости» от чрезмерно героизированного искусства, стремление осмыслить теневые, трагические стороны народного бытия, рассчитать «переписанные», и не раз, исторические страницы «палимпсеста».

Особенно наглядно эта тенденция обнаружилась в романных трилогиях, тетралогиях и пенталогиях Ивана Шамякина, Ивана Науменко, Ивана Чигринова, Вячеслава Адамчика. Попытка применить в изменившихся условиях опробированные ранее приемы работы с историческим материалом, испытанные способы описательной поэтики давала сбои. Взрывообразно увеличившееся «поле действительности» требовало иной образной реакции, обращения к художественной условности, к недоосвоенной традиции «фантастического реализма» (весьма развитой в белорусской классике XIX века). Эстетическое обновление совершалось прежде всего за счет национальной проблематики, по известным причинам недостаточно полно и глубоко разработанной в предшествующие десятилетия «социалистического реализма как открытой системы».

Классический реализм, переживший свой звездный час в XIX столетии, в XX столетии проходил новую фазу своей художественной эволюции и эстетической трансформации. С одной стороны, он раскрыл свои эстетические возможности в лиро-психологической, импрессионистической прозе Ги де Мопасана, О' Генри, Антона Чехова, Ивана Бунина, Максима Горецкого, а с другой – вылился в романные циклы Эмиля Золя, Ромена Ролана, Джона Голсуорси, Теодора Драйзера, Томаса Манна, Максима Горького. В белорусской прозе это устойчивое стремление к романному эпосу и к циклизации выявилось в творчестве Якуба Коласа, Максима Горецкого, Кузьмы Чорного, Михася Лынькова, Миколы Лобана, Ивана Мележа, Ивана Шамякина, Вячеслава Адамчика, Ивана Чигринова и др.

Во всех этих циклах на виду простая зависимость от величественного замысла «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака. У французов это уникальное художественное явление получило метафорическое название «роман-река», у англичан – «семейная сага», у немцев — «семейная хроника», у русских — «роман-эпопея». У белорусов общее название жанра отсутствует: не называть же впрямь, как шутил М. Лыньков, «опупея»! «Полесские повести» Якуба Коласа, «Комаровская хроника» Максима Горецкого, «художественная история белорусского народа» Кузьмы Чорного, «Полесская хроника» Ивана Мележа, пенталогия Ивана Чигринова, тетралогия Вече-

слава Адамчика, дилогия «Великий Лес», трилогия Генриха Далидовича, пенталогия Леонида Левановича — не свидетельство ли это художественной неисчерпаемости истории белорусов в «эпоху войн и революций»?!

Объединяет все эти разные в хужожественном отношении многотомные романы основательное описание целой эпохи в жизни народов, воплощенной во множестве людских характеров и типов. Этому эпическому жанру свойственен весьма разветвленный сюжет, охватывающий все социальные слои общества. Преобладает в нем традиционная бальзаковско-толстовская техника наррации, неспешное, подробное, даже натуралистическое повествование, противопоставленное экстравагантным новациям литературного авангарда. Впечатление художественной целостности достигается с помощью одного или нескольких героев, переходящих из произведения в произведение и воплощающих в своей судьбе историю одной семьи, ее возвышения, расцвета и упадка.

Драматические коллизии эпохи выявляются в идейно-нравственном конфликте поколений, который повторяет реальную историю возвышения, успеха и поражения рода. Время в этих «циклах», «сериалах», «хрониках», «сагах» скорее разрушает, чем строит. Герои либо продолжают семейные традиции, либо бунтуют против заведенного предками порядка. «Семейная сага» в подтексте вмещает отрицание пафоса эпически-героических саг, которые возникли в устных народных преданиях. «Хроника», наоборот, ориентируется на древние летописи и на библейскую традицию. Но и в том и в другом случае частная жизнь человека показывается на одном эстетическом уровне и также масштабно, как и история общества.

Все резко изменилось в преддверии конца столетия и тысячелетия. Пробил час милленарной литературы. Именно поэтому многотомные эпические замыслы В. Адамчика, И. Чигринова, наиболее чутких к новым веяниям писателей, были ускоренно завершены уже в первые годы горбачевской гласности. Спешка обнаружила себя в зияющих провалах искусственно педалируемой публицистичности авторских отступлений, идеологизированных диалогов, пафосных внутренних монологов и «потока сознания» персонажей.

Однако и И. Чигринов, и В. Адамчик, а также И. Пташников, Я. Сипаков, А. Кудравец, В. Карамазов, В. Козько, представители поколения «детей войны», запомнили войну иначе, чем их непосредственные предшественники, активные участники войны с фашизмом В. Быков, Я. Брыль, А. Адамович, И. Шамякин, И. Науменко, А. Карпюк, А. Осипенко, В. Хомченко и др. Трагический аспект войны в этих воспоминаниях явно преобладал над героическим, а онтологическая проблематика явно противопоставлялась гипертрофированному гносеологизму марксизма-ленинизма.

Подлинность собственной памяти, глубины индивидуального подсознания как эстетический ключ к тайнам бытия нации в XX веке наша литература о войне открывает с особой открытостью и осознанной прагматичностью.

Процессы обновления нравственной атмосферы в обществе постепенно осмысливались не только в романных циклах, но и в других литературных жанрах. Повесть В. Быкова «Стужа», например, неслучайно помечена двумя датами: 1969 и 1991. Задуманная во времена, когда всю правду о своем времени высказать было немыслимо по цензурным соображениям, эта повесть могла появиться лишь тогда, когда общество созрело, чтобы услышать о себе жесткую оценку. Многие другие произведения прозаика (повести «В тумане», «Облава», «Полюби меня, солдатик», «Болото», рассказы) не только дополняли часть военной панорамы, нарисованной В.Быковым в советские времена, но и стали новым словом знаменитого писателя о войне народа и войне с народом.

Акцент делается на изображении трагической стороны войны как явления "противного человеческой природе". Чем была война с фашизмом для белорусов как нации, стала ли она для них событием вчерашнего дня? Ответы очевидны, тем не менее кое-что требует уточнения и объяснения. В новой исторической и литературной ситуации мы нередко видим Быкова, выступающего «против Быкова», прежнего, хорошо знакомого. Новый Быков, чутко воспринимая и точно оценивая изменения в мировом «параллелограммс сил», заметно переосмысливает многое из того, о чем писал ранее. В его произведениях уменьшилась доля «аскетического ригоризма» и «максимализма экспериментатора» и увеличился интерсс к живой

человеческой личности, которую не всегда можно судить мерой требований «нравственного императива».

В повести «В тумане» ее герой Сущеня, жертва обстоятельств, в которые «его загнали немцы, война и жизнь», возвышается над своей судьбой, взяв ответственность на себя: «По совести, как все, на равных правах с людьми жить он не мог, а не по совести не хотел... Что ему еще оставалось?.. Человек не все может». Здесь Быков, представитель «убитого поколения», спорит с Хемингуэем, представителем «потерянного поколения».

Повесть «Облава», известная русскому читателю по публикации в журнале «Дружба народов», а также в сборниках рассказов и повестей «нового» Быкова, возникла как попытка ответить на вопрос, насколько человек является разумным, свободным и цивилизованным существом и какой нравственною мерою его можно судить и оценивать. Федор Ровда, загнанный в болото преследователями, среди которых и его сын Миколка, никого не осуждает, лишь удивляется: «О, люди, люди! За что же вы так?.. Люди...».

Егор Азевич, герой повести «Стужа», похож на Миколку своим стремлением делать комсомольскую карьеру «вопреки всем». Лишь в годы войны, вынужденный искать помощи у тех, кого вчера преследовал, он начинает что-то понимать: «...если то во вред тем, кто то делал, то, видимо, и не на пользу будущим поколениям. На сгубу и тем и этим».

В рассказах «Зенитчица», «Полководец», «Политрук Каломиец», «Подаренная жизнь», «Катюша», «Очная ставка», «Должик», «Краткая песнь» эпизод за эпизодом, событие за событием восстанавливаются трагические истории и судьбы людей на войне. Образы, герои, сюжетные ситуации знакомо быковские. Единственное отличие, пожалуй, в трагическом колорите изображения, подчеркивающем интерес писателя к категории абсурда. В каждом отдельном случае этот абсурд войны обнаруживается в различных вариантах.

Во время войны чаще всего брала верх ничем необоснованная, неоправданная жестокость, когда поэтический афоризм единица — ноль», казалось, оправдывает гибель тысяч и миллионов бойцов. Многое зависело от командира, его опыта и мудрости, умения соединять мысль об общей победе с заботой об отдельной личности.

В рассказе «Полководец» находит свое продолжение и развитие многолетнее раздумье писателя над проблемой гуманизма. Именно о таких «полководцах», ни во что не ставящих человеческую жизнь в военной ситуации, не раз вспоминает после войны младший лейтенант Василевич, герой повести «Мертвым не больно».

В рассказе «Полководец» писатель размышляет на проблемой человечности в жестоких условиях войны. Всегда ли оправдано высшими соображениями отсутствие милосердия? Полководец (название рассказа явно саркастическое) ранга не меньше маршала, демонстрируя решительность, отдает приказ разоружить бегунов, юных бойцов, который подчиненные понимают по-своему, расстреливая их и оформляя задним числом протокол судебного разбирательства, отдает под трибунал майора, использовавшего личную машине командарма и опоздавшего на одну–две минуты к его выходу из штаба. В ином случае на глаза Полководца попадает мужественный офицер, спасавший орудие и на свою беду оставшийся в живых из всей батареи. Полководец, демонстрируя свою решимость, отдает суровый приказ: «Расстрелять!» В длинных списках расстрельной команды появляются фамилии очередных жертв стечения обстоятельств: старлея Безуглого, рядовых Андреева и Тявельки, пополнивших ужасную, с многими нулями, цифру погибших в войну. Рассказ завершается многозначным предложением: «Командующий навел порядок — немецкие танки здесь не прошли». Имя и фамилию, настоящие или вымышленные, автор сознательно не называет: перед нами не человек, а всего лишь исполнитель плохо понятых служебных обязанностей. Рассказ «Полководец» продолжает в новых условиях полузабытую дискуссию об «окопной правде» и «правде генштаба».

Повествуя о войне, какой она была на самом деле, Быков правдив и в главном, и в деталях. Заметное место в рассказе «Очная ставка» занимают размышления об абсурде как феномене XX ст. Все попытки Булавского, его героя, подняться над судьбой завершаются неудачами и трагедиями. Сам он напрасно ищет какой-либо смысл в происходящем: плен, немецкий, затем советский концлагерь; «очная ставка» с женой, отрекшейся от него, наивное желание помочь ей завершается плохо для обоих («чем основательнее была

надежда, тем хуже беда обрушивалась на него позже»). Булавский, герой рассказа «Очная ставка», поневоле становится философом: «Он не распоряжался собой. Ни нынче, ни когда-либо ранее. Им распоряжались другие. Люди, начальство, судьба. И так всю жизнь. Вся его проклятая, беспросветная жизнь». Та же мысль о бессмысленности человеческих усилий что-либо изменить в мире, в собственной судьбе звучит в рассказах «Должик», «Глухой час ночи», «Краткая песнь».

Повесть «Полюби меня, солдатик» — одна из самых лирических и трагических вещей В. Быкова — тематически и стилистически связана с «военными» рассказами. Автор осмысливает давний эпизод великого сражения: зловещая гибель белорусской девушки Франи на самом пороге долгожданного мира. В кратком мгновении пережитой героями первой любви прозаику видится нечто большее, чем привычные издержки исторического прогресса.

«Вечность, — рассуждал в этой связи Быков, — как ни крути, сплошь составляется из преходящих моментов, круто замешанных на презренной грязной политике, грехе, страданиях и боли... Будущее никому угадать не дано — ни ясновидцам, ни экстрасенсам, ни даже модной ныне свободно продающейся и покупаемой науке — социологии... Зато несомненный капитал ныне живущих — их прошлое. Важно лишь его знать. Извлекать из него уроки. Не забывая при этом пессимистические сентенции предшественников, учитывая давно изреченные истины относительно того, что было, то и будет, что ветер всегда возвращается на круги своя».

Простая история юной влюбленности в мир, в жизнь на далекой окраине великой войны, где-то в глуби побежденной Германии, девушки Франи и Мити Барейко, белорусского парня из Бешанковичей (откуда, кстати, родом, и Василь Глечик, главный герой-рассказчик повести «Журавлинный крик»), впечатляет и тогда, когда учитываются «давно изреченные истины». Всего несколько свиданий, мгновений искренности с любимой достаточно было, чтобы Митя понял, что его душа сильно зачерствела за годы войны и что наивная девчушка гораздо глубже постигла сущность жизни. Ведь именно жестокость, беспощадность, лютая непримиримость борьбы, в результате чего победители невольно перенимают логику

обозленных побежденных, догоняют героев в самом конце войны и в самом начале любви и счастья.

Читатель надеется на удачный исход, но Быков выше всего ценит правду жизни. Франя погибает в страшных муках. Автор и его герой не знают, от чьей руки. Неутоленная жажда мести и крови, планово разбуженная в народах идеологами тоталитаризма, ищет и еще долго будет искать свои жертвы. «Наверное, — заключает Быков, — было бы несправедливо, если бы это немногое без следа увяло, заглохло, забылось и на том месте в душе восторжествовала развесистая клюква вожделенного мифа. Хотя, вполне возможно, с такого рода мифами жить сподручнее. Мифы приятно впечатляют, но вряд ли насыщают. Скорее истощают. Для насыщения голодному человеку все-таки необходим черный ржаной хлеб правды. По крайней мере так иногда кажется».

Еще одна ипостась писателя — современный, незнакомый В. Быков, автор трех десятков «баек жизни» с философско-аллегорическим содержанием. Они на свой лад продолжают быковскую войну с жестокостью и, как он выражался, с «философией ненависти».

Автор «баек» всякий раз предлагает внешне отличительное жанровое определение: приповесть, памфлет, хрестоматийная сказочка для маленьких, сказка для взрослых, литературные нравы и др. В формальном отношении все это произведения философского жанра.

В самом начале интеллектуальной белорусской прозы находятся анекдотические истории Ядвигина Ш., «Сказки жизни» Я. Коласа, «Абразки» З. Бедули, «Скарбы жизни» М. Горецкого. Эти «schort stori» не претендуют на большие художественные открытия, тематически и стилистически «примитивно-простые», сознательно повторяют знакомые сюжеты, охотно используют классические образы героев. Однако содержательный подтекст этих «побасенок», наполненных богатыми аллегориями, символикой, политическими и литературными аллюзиями, ассоциациями, реминисценциями, всегда глубокий, содержательный, философский.

Частично эти поучительные истории помещены в книгах «Стена» (1998), «Похожане» (2000), «Парадоксы жизни» (2005). Некото-

рые опубликованы на страницах газет и журналов, многие находятся в семейном архиве прозаика.

Вряд ли ставил В. Быков когда-нибудь сознательно перед собой чисто теоретическую задачу: создать «новую прозу», утвердить «новый стиль», превзойти предшественников, решить в творчестве все жизненные и художественные задачи... Первотолчком у него всегда была живая жизнь, ее вечное и изменчивое движение — неисчерпаемый источник обновления и вечной юности души, даже тогда, когда что-то повторяется или возвращается снова в его произведения. Это могла быть случайная встреча, либо воспоминание, не дававшее покоя и вередящего старые раны, либо мысль, которую нужно обязательно решить, либо припрятанное «на потом» напоминание о безрадостном и полуголодном детстве, о котором длительное время не хотелось ни говорить, ни писать, либо пробужденная движением событий память о полузабытых эпизодах прошлого, в которых больше горькой правды о войне, чем в огромной библиотеке мемуаров военачальников и политических деятелей.

Именно так рождались приповести «Народные мстители» (1997), «Волчья яма», «Мальборо», «Три невысказанных слова», «Труба» (все – 1998), «Главны кригсман», «Хуторяне», «Апологетика "нагана"», «Кошка и мышка» (все — 1999) и многие другие произведения, в которых так или иначе звучит эхо быковских рассуждений об эпохе войн и революций.

Во что превратится художественное повествование — в героическую оду в честь непобежденного человеческого духа или в грустную песнь в стиле Экклезиаста? Этот вопрос решается в каждом случае отдельно и неожиданно.

С одной стороны, предупреждение Г. Бёля о том, что «человек перестает быть художником не тогда, когда пишет слабое произведение, а тогда, когда начинает бояться всякого риска». А с другой — напоминание об известном, что главным критерием ценности произведения является степень обязательности и своевременности его рождения.

И как продолжение — мысль: «Безответственность, беззаботность относительно формы очень часто влечет за собой безразличие читателя к содержанию произведения... Искусство мстительное.

Оно жестоко расправляется с теми художниками, которые сознательно и невольно предают его основные законы — законы правды и человечности».

Художественное слово, одной из задач которого является укрощение хаоса, кажется бессильным перед наплывом стихии. Однако Быков потому и Быков, что в своем длительном и терпеливом противостоянии злу и лжи не сдался. Быков уже в Большом Времени. Открытием быковского гения стало именно открытие Времени во всех реалиях нашего земного существования, радикальное утверждение его возможностей, которых до Быкова не знала мировая литература. А это и понятие необратимости времени, и связанное с ним сожаление об упущенных возможностях, о чем белорусы знают лучше, чем кто-либо еще. А это и понятие выбора, ныне сузившегося к дилемме: быть или не быть — нации, языку, культуре, самой жизни на земле. А это и понятие абсурда, когда исчезает оптимистическая надежда на счастливое стечение обстоятельств и как благодать является чувство реальности и нравственной ответственности, понимание своих слабых человеческих возможностей в сопротивлении хаосу и величия человеческого духа, черпающего энергию в чувстве достоинства.

Черный ржаной хлеб правды, иначе говоря, абсолютной истины, увиденной глазами отдельного человека, — самое содержательное понятие в творчестве Василя Быкова. Его творчество — это жизнь, а его жизнь — это творчество. Жизнь Быкова завершена, как давно взвешенное и глубоко продуманное произведение, его Главная Книга.

С очевидным постоянством обращался к теме войны Алесь Адамович — в прозе, публицистике, документалистике, киносценариях и научных трудах. Его всегда привлекали взлеты человеческого духа и интересовали физические и духовные возможности человека, народа, творчества. Именно поэтому писатель пытался заглянуть «за черту»: «А что там, дальше?», «Адекватна ли реакция?», «Как быть гениальным?», «Если не мы, то кто же?» — названия статей последних лет его жизни. Многих в свое время шокировал призыв Адамовича «делать сверхлитературу». Пожалуй, ближе всех к пониманию его смысла был Игорь Дедков, когда

спрашивал всех и самого себя: «Возможно, сверхлитература — это брать ношу по возможности потяжелее?..».

Ноша, взятая на себя Алесем Адамовичем, была действительно тяжелая. После «Хатынской повести» он был увлечен, как всегда страстно, идеей создания документальной книги о белорусских Хатынях, которую написал совместно с Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Одному было невмоготу. «После всего нами услышанного, записанного, собранного, — отмечал он, — будто бы легко написать еще одну повесть, роман написать. Об этом, о войне. Только зачем? После таких рассказов, такой правды!». Писал о том, о чем мог только он один написать, о чем неоднократно спрашивали его рассказчики, белорусские женщины из сожженных белорусских деревень: кто все это делал?

Так появился роман «Каратели», состоящий из 4 глав-повестей о разных типах карателей. Но уже вскоре после публикации появилась необходимость в дополнении его пятой главой, напечатанной как самостоятельная повесть под названием «Дублер». «Получил письмо от полковника авиации, фронтовика, — объяснял автор. — Письмо, полное укора, пристыживающее: вашу повесть критики расхваливают, но ведь у вас полуправда, где у вас Главный Каратель? Имел ввиду полковник Сталина».

Однако «сон двух тиранов» был уже написан и поджидал своей поры. Рисуя психоаналитические портреты Гитлера и Сталина, писатель особенно охотно использовал иронию как прием. Фюрера сравнивал с обезьяной, взбирающейся по дереву (чем выше, тем виднее ее голый зад). Сталина окрестил «дублером», присваивающим чужие идеи и неспособным придумать свое. Посредственность, захватывая власть над полумиром, на взгляд Адамовича, способна осуществить свои параноидальные мечты. Искус нарушить заповедь «Не убий!» был слишком силен в XX веке.

Публицистичность, философичность — эти качества так или иначе свойственны повести-антиутопии «Последняя пастораль» (1986), создающей впечатляющую картину возможного ядерного Апокалипсиса, третьей мировой войны. Очевидно сознательное противопоставление современности прошлому, когда возник жанр идиллии, пасторали, утопии (Апулей, Лонг, Томазо Компа-

нелла, Томас Мор). Герои повести, Женщина и Мужчина, Он и Она (как в одноименной поэме белорусского классика Янки Купалы, строфы из которой стали эпиграфами к главам), — последние в человеческом роду. Произошло то, чего больше всего страшились, — ядерная катастрофа, зло взяло верх.

Герои ощущают себя Адамом и Евой периода «ядерной зимы». От них, кажется, зависит, быть или не быть жизни на планете. Они много спорят, часто возвращаются в воспоминаниях в прошлое, ищут ответы на вечные вопросы земного бытия. Повесть завершается Судным днем: гибнет все живое, гаснет лучик сознания последних представителей человечества: «Исчезли последние свидетели собственной трагедии, и она тотчас перестала быть трагедией и стала рутинным физическим процессом превращения, падения энергии в ничтожно малом уголке Вселенной. Свет погас, опустели и сцена, и зрительный зал...».

Художественно-философское осмысление XX века А. Адамович продолжил в повести «Венера, или Как я был крепостником» (1988–1992). Рассказчик, бывший подросток-партизан, сквозь годы припомнил образ белорусской красавицы Венеры Станкевич и вдруг понял, что в ее образе воплотилась драма человека и народа. Само имя неслучайное: в кабинете писателя, перед его глазами, всегда находилась мраморная статуэтка Венеры Милосской, воплощения красоты и женственности. В исповеди лирического героя, имеющего немало автобиографического, развертывается краткая, но полная драматизма жизнь несчастной Венеры Белорусской, повторяющей в основных чертах трагедию белорусов (колхоз, репрессии, война, немецкие каратели и бериевские спецотряды, послевоенный крепостнический строй).

Жанрово произведение является покаянием, «расчетом с прошлым». Как ни странно, в трагической по колориту и настроению книге много юмора, мягкого, улыбчивого, более похожего на самоиронию, чисто белорусского, когда не понятно, то ли человек посмеивается над другими, то ли над собой. В наиболее тяжелые моменты, когда атмосфера безысходности невыносимо гнетет и героев, и автора, и читателя, появляется старик Тамаш, бессмертный белорусский Кола Бруньон, высмеивающий стереотипы совет-

ской пропаганды, бесчеловечное поведение местных «панов» большевистского образца.

Своеобразной «фреской» войны является повесть «Немой» (1993), повествующей о первой любви немецкого солдата Франца и белорусской девушки Полины во время оккупации и после войны. Адамович старательно реставрировал один из эпизодов белорусской истории, чтобы наглядно продемонстрировать деструктивную суть человеконенавистнической идеологии, деформирующей человеческие души и судьбы. Юные герои повести противостоят неблагоприятным обстоятельствам, руководствуясь в своем поведении простыми правилами общечеловеческой морали и законами природы. Они смогли сохранить свое чувство в чистоте и верности, преодолеть множество препятствий на своем трудном пути и победить зло.

В последние месяцы жизни Алесь Адамович, трезво оценивая свое физическое состояние, рационально распланировал остаток дней, чтобы завершить начатое и осуществить задуманное. В повести «Vixi» («Прожито»), написанной в жанре писательской автобиографии, он с первичной свежестью и яркостью восстановил картины своего довоенного детства, отдал дань уважения близким людям, землякам, еще раз припомнил некоторые знакомые читателю по прежним произведениям эпизоды военного отрочества и юности, на этот раз подавая их от первого лица и расставляя все по своим местам.

Произведение отличается иронически-философским отношением автора к себе, стремлением подвести философские результаты размышления над «вечными вопросами» и «насущными заботами». Повесть завершается на высокой, оптимистической ноте: «Да, жизнь прожить — не поле перейти. Как все просто, но сказано навсегда, о всех. Из Вечности перебежать в Вечность. А по пути — столько всего».

Пафос подведения итогов присутствует и в других произведениях белорусских прозаиков разных поколений. В повести «Жертвы» Ивана Шамякина восстанавливается полудетективный сюжет мужественной борьбы Минского подполья, где на виду попытка по-

новому осмыслить военное прошлое, если помнить при этом давний роман прозаика «Сердце на ладони».

Повесть написана тогда, когда уже существовала многотомная литература о войне. В ней свое место заняли и произведения самого И. Шамякина, возвращавшегося все время к этой актуальной на протяжение десятилетий теме.

Созданная писателями панорама военных событий в целом отражала действительную сложность подпольной и партизанской борьбы. В лучших произведениях глубоко и ярко осмыслены острые моменты и драматические коллизии прошлого. Общественное сознание с помощью художественной литературы постепенно избавлялась от упрощенных взглядов и подходов и осваивало жизненную диалектику военного противостояния.

В результате общих усилий историков и писателей была наконец сказана правда о деятельности Минского подполья, оценивавшееся на протяжении десятилетий негативно. Раскрыть эту правду и восстановить справедливость помогало освобождение от идеологических догм, большее доверие к воспоминаниям участников подполья, появление в печати новых фактов и документов.

В романе Виктора Карамазова «Беженцы» подробно, основательно описываются мытарства белорусов-беженцев, увиденные когда-то глазами подростка и осмысленные взрослым человеком, кому не безразличны судьбы нации. Прошлое, начиная со времен войны и до времен чернобыльских событий, в романе показаны глазами Василя Бодобеда, вначале мальчика, затем взрослого человека. Многое из его воспоминаний уточняется с помощью его отца Захара. Однако богатство житейских подробностей и наблюдений, воспоминаний о встреченных на путанных военных дорогах людях не закрывает главного — темы беженства.

Белорусы-беженцы — одна из самых многочисленных людских категорий — не могла не привлечь внимания прозаика. Ведь он сам в детстве изведал судьбу беженца, узнал, что такое покинуть обжитый угол, ехать в белый свет, начинать все сначала, спастись от чужаков. Это национальная трагедия белорусов, вынужденных не по своей воле становиться изгнанниками, терять связь с родным кос-

мосом. Именно так воспринимали это явление наши классики. Именно так воспринимает и оценивает его и В. Карамазов.

Особенно впечатляюще взгляд на беженцев как драму миллионов высказал Захар Подобед в своих размышлениях. Учитель по профессии, он привык видеть конкретное жизненное явление в широком историческом плане, а иногда в своих мучительных рефлексиях подниматься и до библейских вершин. А видел он белорусов-беженцев и в годы гражданской войны, когда, по статистике, в изгнании оказалось больше двух миллионов людей, и в годы принудительной коллективизации, когда в Сибирь выслали самых трудолюбивых и совестливых трудяг. Трагедия самого Захара в том, что он также прикоснулся к этой беде, пособляя местным «страшным коллективизаторам» в раскулачивании и раскрестьянивании белорусского села. Совестливый человек, образованный и умный, настоящий интеллигент, Захар Подобед видит в беженстве трагедию нации, рассеянной по миру, порывающей связь с родными корнями, и воспринимает это наваждение как «конец мира». Чернобыльская беда снова заставила белорусов стать беженцами и повторить муки предков.

В романе Владимира Дамошевича «Каждый четвертый», поджидавшем своей публикации в ящике письменного стола, выражено стремление понять, откуда взялась такая страшная цифра понесенных беларусами жертв в годы войны (в последние годы называется цифра «каждый третий»), кто был причиной военных невзгод белорусов, своеобразной вендетты «по́-белоруски».

В некоторых, пока немногочисленных произведениях «малого жанра» (рассказы Вячеслава Адамчика «Прилет нетопыря. Недописанная новелла», «Броники, или Новелла о коне», «Смерть на пороге», «Ночь на Головосека», «Ксендз», «Нерушимый камень», «Бронежилетка № 36»), проявилось желание описать и осмыслить трагические эпизоды времен войны, пышно и неточно названной «всенародной партизанской борьбой». Хотя и понятие «гражданская война», время от времени звучащее на страницах независимых газет и журналов, вряд ли адекватно отвечает на сложнейшие вопросы.

Прекрасные рассказы о прошлом — «Эфка», «Ирга колосистая», «Француженки», «Три пуда ржи» — опубликовал И. Пташников.

Белорусская проза о войне стоит перед новыми проблемами, решать многие из них доведется уже в отсутствии ведущих писателей-ветеранов — друг за дружкой ушли из жизни Алесь Адамович, Иван Чигринов, Вячеслав Адамчик, Василь Быков, Иван Шамякин.

В.А. Хорев (Москва)

Белорусские мотивы в творчестве Тадеуша Конвицкого

Польские исследователи давно пришли к выводу о том, что на польских восточных «кресах» в результате стыка разнообразных этнических культур, взаимодействия разных языков и разных моделей мира, родились оригинальные, значительные художественные явления [1]. Речь идет об украинских, белорусских и литовских землях — бывших восточных окраинах Польши, которые дали польской культуре целые поколения писателей, художников, музыкантов, этнографов, фольклористов, ученых.

Пограничье — это и синтез, и конфликт разных культур, оно может и объединять, и разделять людей. Вот почему в польской литературе развиваются (сложившиеся уже к началу XX века) две противоположные тенденции: с одной стороны, мифологизация «кресов», как некоего — навсегда утраченного — изумительного по красоте разнообразной и богатой природы края, в котором сохранялись завещанные предками высокие этические нормы отношений между людьми и народами, населявшими этот край; с другой — изображение многоэтничных кресов как арены противостояния этносов, непримиримой борьбы между ними.

Художественное отражение жизни пограничья в польской литературе имеет глубокие исторические корни. Известно, например, насколько значительную роль в становлении поэзии Адама Мицкевича сыграла этнически разнообразная народная культура, прежде всего белорусская, характерная для родины поэта — Новогрудского региона. Фольклор, обряды и поверья местных крестьян стали источником многих будущих поэтических открытий Мицкевича.

...Детства нашего страна,
как первая любовь, светла она –

писал Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш», обращаясь к своим детским годам, как к утраченной идиллии.

С жизнью белорусского народа связано творчество другого классика польской литературы — Элизы Ожешко. К национальным, бытовым, психологическим проблемам польско-белорусского, а также польско-литовского и польско-украинского и пограничья обращались в своих художественных произведениях и эссеистике многие писатели в XX в. — З. Налковская, С. Винценз, Е. Стемповский, Я. Ивашкевич, Ч. Милош, Л. Бучковский, Ю. Стрыйковский, А. Кусьневич, Ю. Мацкевич, М. Кунцевич, М. Ванькович, Е. Путрамент, Зб. Жакевич и другие. Их внимание привлекала специфичность тематики кресов, состоящая в том, что на этом пространстве судьбы поляков пересекались с судьбами украинцев, белорусов, литовцев, русских, евреев, татар, немцев и других этносов.

У современных польских писателей белорусские мотивы, подобно Э. Ожешко в XIX в., наиболее ярко проявились в творчестве Тадеуша Конвицкого. Не случайно такой проницательный критик, как К. Выка, сближал прозу Ожешко и Конвицкого в этом плане. Свою рецензию (1956 г.) на роман Конвицкого «Топи» он озаглавил «Последний роман Э. Ожешко». Выка устанавливал связь между проблематикой романов этих писателей. Конвицкий обратился к жизни — уже в другую историческую эпоху – на землях, которые, по словам Выки, «не были исконно польскими, но были глубоко пропитаны нашей культурой и общей историей». В его роман ворвался «жестокий вихрь эпохи крематориев, достигший березовых рощ, озер и голубого неба». Выка писал о том, что «моральные и исторические обоснования, которые пани Элиза приписывала своим героям, превратились в пустые слова, правдой стала — пистолетная пуля в затылке белорусского крестьянина» [2].

По глубокому замечанию выдающегося русского филолога В.Н. Топорова, «одним из самых замечательных открытий нашего века в гуманитарной сфере нужно считать проблему „другого"» [3]. В случае творчества Конвицкого — другого языка, образа мышле-

ния, быта жителей кресов по сравнению с центральной Польшей. Стык, столкновение, взаимодействие разных моделей мира, языковый колорит, природные и материальные, предметные реалии региона бывших восточных окраин Польши (северной Белоруссии, южной Литвы), запечатленные в произведениях Конвицкого, придают его прозе неповторимые качества, создают своеобразные характеры героев, индивидуальную форму отношений человека с миром.

Конвицкий родился в 1926 г. в Новой Вилейке, учился в Вильнюсской гимназии, в 1944–45 гг. был в партизанском отряде Армии Крайовой, действовавшим на территории Виленщины и Белоруссии. Эти жизненные обстоятельства во многом определили тип его художественного сознания, сформировавшегося как на стыке разноликих национальных языков и соответствующих им национальных образов мира, так и на стыке времен: безвозвратно уходящего в прошлое быта польских кресов и наступления нового их бытия в составе советских республик.

Этнический, религиозный, культурный конгломерат региона стал для Конвицкого «малой родиной», воспоминания о которой образуют магнетическое ядро многих, если не большинства, его произведений. Об увлеченности Конвицкого Беларусью, ее людьми, природой, языком трудно сказать лучше, чем это сделал сам писатель: «Чем я обязан Белоруссии? Я обязан ей тем, что до сих пор не умею хорошо писать по-польски, что она навсегда изменила мой слух, что ее напев заглушил пястовскую, сандомирскую или келецкую мелодии, которым я учусь и учусь и никогда уже не научусь. Я обязан ей той ностальгией, которая хватала меня за остатки волос посреди белого дня в Варшаве, Париже или в Манхеттене (...). Когда я вспомню белорусское слово, когда подует ветер с северо-востока, когда я увижу полотняную рубаху с грустной вышивкой, когда услышу крик боли без жалобы — всегда сильнее забьется мое сердце, всегда вырвется откуда-то мягкая печаль, всегда подплывет внезапный холодок неопределенных угрызений совести, чувства вины и стыда.

Беларусь, серо-зеленая Беларусь с огромным небом над льняной головой, слишком добрая, слишком мягкая, слишком благородная на наши времена» [4].

Творчество Конвицкого автобиографично, его характеризует, по словам самого писателя, «настойчивый поиск смысла в собственной биографии, поиск гармонии, порядка» [5]. В разных своих произведениях писатель создает варианты одной и той же биографии, символической биографии своего поколения, утратившего идиллическую Аркадию детства. Как точно заметил С. Буркот, «Конвицкий, начиная с „Ройстов”, рассказывает историю своего поколения, которому война (и ее последствия) принесла ощущение несвершенности и даже измены. Для части этого поколения день победы совпал с личным поражением, с необходимостью покинуть родные места, отказаться от своего прошлого, расстаться с людьми, непригодными в новой, послевоенной действительности» [6].

Вспоминая о годах войны, о партизанском движении, Конвицкий говорил о том, что «разных партизанских отрядов было бессчетное число. Но самым потрясающим был белорусский крестьянин, который на своем горбе вынес всю эту войну» [7].

Герои Конвицкого, как и он сам, представляют при этом рядовые биографии. Конвицкий писал о себе в «лже-дневнике» «Календарь и клепсидра», что сразу после войны он был «темным Литвином», что «еще совсем недавно я обязательно хотел умереть за родину, еще недавно бродил по белорусским пущам с оружием в руках, а точнее на спине, еще недавно мир заканчивался для меня на другом берегу Немана» [8].

Виленщина и Белоруссия стали в творчестве Конвицкого архетипом, символом, исходным пунктом оценки писателем и его героями современного мира. «Почти во всех своих романах я постоянно описываю один и тот же пейзаж, одно и то же место. Я делаю это сознательно, и мне приятно это делать (...). И в этом есть для меня некая магия» [9], — писал о себе Конвицкий.

Магическим светом озарен у писателя не только пейзаж его малой родины, но и быт и характер людей литовско-белорусского пограничья. Этот некогда добрый и безопасный мир, увы, навсегда утрачен и ностальгически недосягаем. Над сознанием современных героев Конвицкого тяготеет жестокий опыт военных лет, прежде всего тот, который был уделом молодежи Армии Крайовой, молодежи, дезориентированной ходом истории и вошедшей в жизнь с

ощущением личного поражения. К этому присоединяется восприятие современной польской жизни, как враждебной личности. Эта жизнь лишена подлинной свободы, она воспринимается словно бы в полусне, в гротескной оболочке. Ей противопоставлены чувственно-конкретные картины прошлого, которые наполнены символическими значениями.

Прошлое, молодость — вот куда устремляются физически, мыслью и мечтой писатель и его герои — в мир, в котором существовали еще общепринятые нормы морали, человечности, справедливости. Помещенные в иное пространство герои Конвицкого теряют точку опоры, теряют свою этническую и культурную тождественность.

Аркадия, какой была для писателя и его героев малая родина, утрачена безвозвратно. Речь идет у Конвицкого не столько о политической утрате, сколько об исчерпанности культурных и этнических ценностей, о чем писатель непрестанно размышляет в своих произведениях. Начало этому процессу положила война: «Мы увидели, что мир, в котором мы живем, определенным образом упорядоченный и гармоничный мир ничего не значил. Все в наших глазах было скомпрометировано, все развалилось (...). А потом настали новые времена — социализм. И многие наши вещи долго догорали (...). Именно на наших глазах распалась вся та интеллектуально-эмоционально-эстетическая формация, в которой мы жили» [10].

Это слова из интервью писателя. А в романе «Хроника любовных событий» он так говорил о последних днях кресов, о весне 1939 г.: «Она доживала свои дни в вильненском польском говоре, в белорусских песнях, в литовских поговорках, она теплилась еще в уходящих обычаях, в отдельных выходках болезненно буйных характеров, во всеобщей и частой человеческой доброте» [11].

Утрата страны детства стала для писателя источником поэтического мифа идеальной родины, а также, как в дневнике «Восходы и заходы луны», основой для антирусской фобии: «Поляки долго бьются с дьявольским русским империализмом. Поляки века тому назад приговорены Москвой и православием к государственной и национальной смерти» [12].

Итак, малая родина писателя — утраченный рай. Ее облик почти во всех произведениях Конвицкого воспроизводится в памяти героев как видение долины на бывших польских кресах. «Эта долина — со своими торфяниками, рекой, полной исторических реликвий, лесом, который повидал много поколений вооруженных людей, — особенная. Я помню такую долину с детства и юности, вы тоже ее помните. Знаете ли вы, что всякий раз, как я хочу представить себе оседлую человеческую жизнь, всякий раз, как я хочу с увлечением описать пейзаж, я всегда вижу эту долину, запомнившуюся до мельчайших подробностей» [13], — говорит Павел, герой романа «Современный сонник».

Подробное описание этой долины дано в романе «Дыра в небе»: река, текущая среди ольшаника, луга, пахнущие мятой, лесной папоротник, песчаная дорога, небо в облаках, костел со звонницей. В такую же таинственную зеленую долину выбираются в свое удивительное путешествие герои романа «Зверо-человеко-морок» — пёс-изобретатель Себастьян и мальчик Петр. В эту же долину — но уже опустевшую, вымершую, как в кошмарном сне, возвращается Дарек, герой романа «Ничто или ничего». В этой долине живет Витек, герой романа «Хроника любовных событий»; вспоминает о ней и автор-повествователь книги «Календарь и клепсидра».

Как уже было сказано, в большинстве произведений Конвицкого действие развертывается в двух временных планах. Так происходит и в романе «Подземная река, подземные птицы». Лейтмотивом в нем также звучит тема малой родины писателя — и в воображаемом возвращении героя романа в родные места из Варшавы времени военного положения 1981 года, и в высказываниях от автора («Я»), как например: «Солнечный свет заливает жаром другой берег, красные стволы соснового бора и крутые островки белого песка. Горловым голосом оперного или скорее церковного певца кричит что-то невнятное мужик ... Он может быть белорусом, литовцем, евреем» [14].

Глубокое уважение к белорусскому народу и его культуре присутствует у Конвицкого не только в прямых авторских высказываниях, но и в художественной ткани произведений. В романе «Бохинь», например, один из персонажей — ксендз Семашко «из

старого белорусского рода», собиратель народных песен, преданий, танцев (и попавший за это в тюрьму, поскольку царские власти считали, что белорусской нации нет и незачем ее искусственно создавать) размышляет о том, какой алфавит более пригоден для белорусского языка и объясняет героине (пани Хелене) достижения белорусской культуры: «В давние века их речь писалась кириллицей. И это было правильнее. Но видишь, детка, потом они участвовали в Возрождении, в Ренессансе значит, и поэтому они уже не азиаты, а настоящие европейцы. И были у них большие поэты, на латыни писали, и был у них Скорина, который хоть и знался с еретиками, но имел большие заслуги и перед поляками, и перед белорусами, и даже перед москалями» [15].

В польской литературе есть писатели, которых иногда называют «кресописами». Речь идет не только о тематике их творчества, но и о своеобразии их языка. К ним принадлежит и Конвицкий. Без какой-либо навязчивой стилизации Конвицкий передает особенности польской речи на кресах. Он отвергает стерильную чистоту языка многих писателей- современников, видя в ней «округлую, как живот одалиски, музыкальность» и гордится тем, что в его произведениях «то и дело проскрипит литовский язык, проскулит неожиданно белорусский» [16].

Сравнивая себя с В. Махом, Конвицкий писал: «Он прекрасно знал польский язык, был пропитан как медом польщизной Кохановского, Рея, Красицкого, я же мычал польско-белорусско-русским воляпюком» [17]. Разумеется, нельзя принимать за чистую монету самоуничижительные слова Конвицкого, из которых можно извлечь лишь указание на использование писателем диалектных особенностей языка своего любимого региона.

Белорусско-литовское пограничье — это своего рода Йокнапатофа Конвицкого. Летопись ее, как и у Фолкнера, трагична, ибо она дана у писателя в изломанных, зигзагообразных человеческих судьбах. Этот, говоря словами Фолкнера, «клочок земли, величиной с почтовую марку», важнейшая смыслообразующая часть художественного космоса выдающегося писателя современной Польши — Тадеуша Конвицкого.

В последние пятнадцать лет тема «кресов», в том числе белорусских, стала одной из важнейших в польской прозе, которая обратилась к сложным, часто трагически переплетенным судьбам польского и других этносов региона, путям формирования польской художественной и бытовой культуры. А изменения на политической карте Европы после 1989 г. и стремление европейских стран к объединению придают новое звучание идее взаимного согласия и сотрудничества вместе или рядом живущих народов, ностальгически пронизывающей прозу о Кресах, и открывают новые возможности интерпретации этой прозы.

Литература

1. См., напр.: *Białokozowicz B.* Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki literackie jako problem badawczy.// Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria. T. 1. / Red. B. Białokozowicz. Wrocław, 1974; Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze kulturowe, styki i kresy jako problem badawczy // Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. T. 1. Olsztyn, 1994; Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej. Białystok, 1998.

2. *Wyka K.* Pogranicze powieści. Wyd. 2. Warszawa, 1974. S. 442–443.

3. Даугава. 1989. № 10. С. 105.

4. *Konwicki T.* Kalendarz i klepsydra. Warszawa, 1976. S. 31–32. О связях Конвицкого с Белоруссией см. также: *Konwicki T.* Jestem częścią żywej Białorusi.// Zaniewska T. A dusza jest na Wschodzie. Polsko-białoruskie związki literackie. Białystok, 1993.

5. *Taranenko Zb.* Rozmowy z pisarzami. Warszawa, 1986. S. 253.

6. *Burkot S.* Proza powojenna. 1945–1980. Warszawa, 1984. S. 222.

7. *Nowicki Stanisław.* Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa, 1990. S. 66.

8. *Konwicki T.* Kalendarz i klepsydra.... S. 21.

9. *Taranenko Zb.* Rozmowy z pisarzami. Warszawa, 1986. S. 253.

10. Ibid. S. 250.

11. *Konwicki T.* Kronika wypadków miłosnych. Warszawa, 1976. S. 124.

12. *Konwicki T.* Wschody i zachody księżyca. Warszawa, 1982. S.

13. *Конвицкий Т.* Современный сонник.// В. Мах. Т. Конвицкий. М., 1973. С. 504.

14. *Konwicki T.* Rzeka podziemna, podziemne ptaki. Warszawa, 1989. S. 13.

15. *Konwicki T.* Bohiń. Warszawa, 1987. S. 160.

16. *Konwicki T.* Kalendarz i klepsydra. S. 98.

17. *Konwicki T.* Kalendarz i klepsydra. Op. cit. S. 23.

Д.И.-Т. Дудинская (Минск)

Национальные типы экзистенциирования в белорусской и русской «деревенской» прозе

В литературе есть темы, которые на интенциальном уровне пронизывают большинство произведений, но только в некоторых из них они (эти темы) проступают с отчетливой и бесспорной выразительностью. Показательна в этом отношении «деревенская проза», локализованная во времени (70-е годы XX в.) и пространстве (восточнославянская литература). Основная коллизия ее произведений — отношения между человеком и Универсумом — обязательно приводит к тому, что жизнь героя оказывается как бы «на ладони» Космоса, Бытия и предстает как напряженный духовный процесс — цепь внутренних выборов с неизвестным заранее результатом.

Рожденная в атеистическую эпоху «деревенская проза», казалось бы, и не собиралась обращаться к сверхлогическим отношениям между личностью и Богом. Тут ей, как ни удивительно, помог социалистический реализм, от которого она пыталась уклониться, сохраняя видимость принадлежности. Показывая человека и природу, их взаимоотношения, осмысливая реальные проблемы их диалога, именно реалистическая литература могла отобразить законы бытия, исследовать Природу с большой буквы. Литература о городе, производственная литература, военная — чаще были вынуждены показывать политическую лояльность или исполнять политический заказ. Благодаря своеобразию тематики, в сюжетах «деревенской прозы» герой мог себе позволить бесконечно бродить по лесу, заниматься хозяйством и отсутствовать на партсобраниях. Именно поэтому он постоянно оказывался лицом к лицу с «текстом» Природы и сопричастными ей — народным бытом, укладом, обычаями.

Это одинокое предстояние героя перед Миром в лоне национального задает ему позицию перманентного экзистенциирования, соответствующего кьеркегоровскому пониманию. Ведь между идеями С. Кьеркегора и экзистенциальной литературой, появившейся через сто лет после работ, написанных датским философом, разница принципиальная. XX столетие исследует одиночество человека в мире без Бога, а С. Кьеркегору важен способ существования, процессы внутренней жизни библейского Авраама в момент испытания его Богом. Экзистенциирование у него происходит как абсолютное отношение к Абсолюту, и без Бога оно, разумеется, не мыслимо.

«Деревенская проза» не ставила себе сознательной цели художественного осмысления отношений человека и Бога, но сам герой на фоне национальных природы и быта с удивительной точностью попадал в координаты этого «диалога», заданные самим Евангелием: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо *что можно знать о Боге, явно*[1] для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его (…) от создания мира *через рассматривание творений видимы…*» [Рим. 1: 18-20]. Такое рассматривание «творений», постижение правды осуществляется не только посредством категорий невидимого: Абсолюта, Бога, Творца, но и (в некотором смысле как почти равнозначными им) — категориями видимого: Космоса, Универсума, Природы. Их выбор иногда зависит лишь от авторских предпочтений. Каким словом ни называй, в «деревенской прозе» мы имеем героя, постоянно остающегося наедине с обращенным к нему «текстом» Природы и быта, несущими глубоко национальную печать.

Одинокий, непонятый многими, стоит перед миром, будто живет, исповедуя свои поступки не столько людям, сколько Природе, Демидчик, герой повести А. Жука «Охота на последнего Журавля», одинокий Андрей Величко из романа И. Пташникова «Мстижи» и Игнат Степанович — из «Сочинения на вольную тему» А. Кудревца. Чужой людям и свой природе Егор Полушкин из романа Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Своеобразное одиночество у героя произведения В. Шукшина «Калина красная»

[1] Везде в цитатах курсив мой - *Д. Д.*

Егора Проскудина, который бросает город, чтобы жизнью в деревне вернуться на необходимый этический «этаж» Бытия. Одинок Акимка, герой В. Астафьева из произведения «Царь-рыба».

Подобную ситуацию можно наблюдать в большинстве «деревенских» произведений. Правда, есть и коллективное предстояние перед Природой: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Спаси и помилуй нас, черный аист» В. Козько. Словно целый народ, как одна индивидуальная ипостась, стоит перед Мировым законом в таких произведениях как «Люди на болоте» И. Мележа и «Русский лес» Л. Леонова. Но не задают ли разнообразные национальные быт и природа многообразие типов экзистенциирования у разных народов? Разве история, прожитая отдельным народом, не закладывает в подсознание индивида национально неповторимый способ реализации собственного существования?

Чтобы увидеть это, стоит свести между собой такие эпизоды произведений русских и белорусских авторов, в которых герой находится в соприкосновении с природой (или бытом) в предельно схожих ситуациях.

В романе Виктора Карамазова «Пуща» есть очень важный эпизод, один из самых значимых для характеристики персонажа. Выпал первый снег, на самом рассвете главный герой романа, Михаил Волошко, идет к себе на работу в лесничество через лес, засыпанный «зимней манной» небесной и все восхищает его — и то, что доносит слух, и то до чего дотрагивается взгляд: «Слушая, Волошко сам наполнялся музыкой, чувствовал, что она все утро тихо жила в нем, и ни спор с матерью, ни горькое воспоминание о жене не могли разрушить, погасить ее. Сверкали окна конторы, а Волошко все стоял, слушал пущу, ее и свою душу в дятловом пощелкивании (...). Но окна настойчиво звали к себе, в будничную работу, и он двинулся к ним. Шел тихо, словно нес переполненные сосуды *живой воды*, нес и боялся, как бы *не разлить, не донеся*» [1. С. 24].

Очень похожий эпизод такого соприкосновения с лесным утром, в котором со всей очевидностью встает и различие, мы находим в романе Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»: «Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот

это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствия звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоянный на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную крону ольхи. Он ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. (...). И ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг и все это исчезнет, исчезнет навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом Совете. И он вдруг догадался, чего ему хочется: *зачерпнуть* ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и *не расплескав, принести ее людям*. Но зачерпнуть ее было невозможно, а рисовать Егор не умел...» [2. С. 308-309]. Не вызывает сомнения, что Егор Полушкин воспринял тишину природы как ее отдых, Михаил Волошко — как музыку, что входит в его душевное содержание, становится частью его. Обоих героев восхитил лесной рассвет, и они захотели зачерпнуть и принести красоту людям, но для одного зачерпнуть было невозможно, для другого — случилась такая переполненность до самых краев, что нести нужно было осторожно.

Если подходить к этим эпизодам с позиций простого сравнения, то может сложиться ложное впечатление (в отношении: смог / не смог), что персонаж В. Карамазова лучше, чем герой Б. Васильева. Но совсем иное освещение дает этому знание характеристик национальных типов экзистенциирования. Почти напрямую позволяет их ощутить сопоставление внутренних движений душ героев В. Карамазова («Зеленые тони») и В. Астафьева («Царь-рыба»), которые боролись с невероятно большой рыбой.

Сюжет рассказа белорусского автора достаточно типичен: после длительной болезни бывший рыбак, Бамбала, не может вернуться к прежней работе. Бригада давно списала его на берег по состоянию здоровья. Он может позволить себе вообще уже не работать. Но герой идет на лов один. Происходит борьба с большой рыбой, и Бамбала справляется, побеждает. И тут свершается самое главное, ради чего, видимо, и обратился к этому сюжету автор: герой попадает в странное состояние, по какой-то внутренней потребности он долго

смотрит на рыбу, сознание уходит в сферу немыслия, наливается забытой силою сердце. Внутренние процессы приводят к экзистенциальному парадоксу: он думал «... о чем-то своем, *никому неизвестном* и, может, *самому себе* не совсем понятном...» [3. С. 105]. Таким образом, внешний мир своим «текстом» входит в героя, обрабатывается его реакцией, и в результате меняется внутренний «текст» самого человека.

Иное движение свершается в душе Зиновия Утробина, выброшенного из лодки ударом сопротивляющейся Царь-рыбы и попавшего рядом с ней на крючки собственного самолова: «Опять дед вспомнился. Поверья его, ворожба (...). Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым. «А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество — не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды — отпушшайте сразу. Отпушшайте, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье». Ни облика, ни подробностей жизни деда, ни какой–нибудь, хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот вдругорядь сегодня вспомнился. Припекло! Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?» [4. С. 139]. Таким образом, очевидно, что у Астафьевского героя экзистенциирование происходит в параметрах сохранения в себе того, что было накоплено предыдущими поколениями и впиталось как бы априори, без усилия, просто так, с молоком матери. Звучит в душе героя и вина-покаяние за отступление от способа бытия дедов и прадедов. Событие, вовлекающее русского героя в соприкосновение с Природой, вызывает у него восстановление *имеющегося* внутреннего «текста», *актуализацию канона, традиции, предания, и идет это посредством покаяния.*

Разумеется, для белорусского героя необязательна победа в соприкосновении Природой, и при поражении процесс экзистенциирования имеет те же характеристики. Вот как это происходит с Игнатом Степановичем, героем А. Кудревца («Сочинение на вольную тему»), после долгой безрезультатной для него погони за диким кабаном, во время которой и охотник, и зверь пытались обхитрить один другого: «Игнат Степанович достал из кармана трубку, но на-

бивать ее не спешил, прислушивался к голосам собак. Они доносились откуда-то с другого конца леса.

— Вобщетки, ему ничего не оставалось, как пойти в атаку на них, в лоб… — Игнат Степанович опять прислушался. Голоса собак еще доносились.

— А теперь нехай они ему в ж-пу поцелуют, — сказал как сам себе и засмеялся тихим виноватым смехом.

Он натаптывал трубку и, казалось, всецело был занят этим, но видно было: *голова его была занята* какой-то другой, очень важной мыслью. Игнат Степанович даже усмехался про себя, шевеля губами, и в *глазах его слался седой*, как это заснеженное поле *туман*… Улыбался и вслушивался во что-то, что *звучало в нем самом* и что *услышать мог только он*» [5. С. 243]. Процесс преобразования внутреннего «текста» героя очевиден. Разговор с Абсолютом молчаливый, то, что происходит в сознании героя, обходится почти без слов, неназываемо. Аналогично кьеркегоровскому Абсолюту, «неназываемое» прячется в седом тумане, как библейский Саваоф в облаке.

Различие между белорусским и русским типом экзистенциирования мы видим и в эпизодах, где описаны соприкосновения героя с национальным бытом. Дарья, Настасья и Сима, героини В. Распутина («Прощание с Матерой»), пьют чай из купеческого самовара старинной работы. Они ведут разговор, из которого понятно, насколько опасный урон приносит человеку городской быт. Потерю эту, приводящую к страшной черте внутренний мир личности, невозможно высказать, можно только так, с какой-то неуловимой народной горькой иронией сравнить городской быт и деревенский.

Но вот рядом эпизод, где такими верными точными мазками описан фон этого чаепития: «Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая, хлопал крыльями и горланил в ограде петух, выходил под окно, важно ступая на крепких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами» [6; С. 72].

Как правило, в произведениях русских авторов мы не встречаем описания такого момента, который указывал бы на то, что содержание национального быта вошло в душу героя, и ее состояние изменилось. Внешний «текст» народного уклада скорее поддерживает

сохранность внутреннего. Осуждение городского быта — как покаяние перед глубоко народным негородским бытом. Описание деревенского содержит интенцию восхищения и утверждения его красоты и истинности, жажды его сохранения. Такими интенциями пронизаны все страницы книги В. Белова «Лад». Это мы увидим в киноромане В. Шукшина «Калина красная», в котором так же очень сильно́ специфично русское биение себя в грудь: восстановление внутреннего «текста» путем возвращения к традициям через покаяние.

Белорусский быт иначе соприкасается с душой героя. Для сравнения возьмем пример из повести В. Карамазова «Березовые веники»: «Прошелся по дому, по чистым белым половицам, еще действительно некрашеным. Подумал: зачем красить их? Он любил пол некрашеный, но чистый, белый, особенно, когда он был недавно помытый, еще влажный, свежий. По такому полу он всегда, во все года, любил ходить босым, потому что тогда *свежесть пола легко шла в душу*, и становилось как-то приятно и радостно» [7. С. 120].

Обращает на себя внимание то, что сама фраза «свежесть пола легко шла в душу» с точки зрения этики и логики выглядит абсурдом. Такую же взаимосогласованность с «текстом» быта (и Природы) мы найдем даже в названии произведения — самого знаменательного в белорусской литературе — «Люди на болоте» И. Мележа и, конечно, в его эпизодах, например: «Василь тихо сошел на снег, спокойно, уверенно потопал к хлеву. Гуз, услышав его шаги, с надеждой заржал (...). Василь (...) принес охапку сена. Когда Гуз потянулся к сену, захрустел, Василь, помягчевший, стишенный постоял рядом, слушая милое хрустение, утешаясь родным запахом хлева. Эти дорогие проявления глушили тоску по Анне, возвращали хоть и не беззаботную уже, осторожную радость» [8. С. 128-129].

Название романа Л. Леонова «Русский лес» красноречиво отличается от названия произведения И. Мележа. Единение русского героя с лесом требует выражения в другой синтаксической конструкции. Определение выделяет особенные черты определяемого. Оно их словно канонизирует, утверждает. Прямой смысл коррелирует с образным, «работает» на него. Да и сам роман пронизывает мотив верности русским традициям, сохранности, их бессмертия. Образ русского леса, как утверждает Н. Лейдерман, есть «воплоще-

ние вечного закона природы и средоточия нравственных правил, которые вытекают из этого закона и служат охранению чуда жизни от погибели» [9. С. 36]. Специфический эсхатологизм, памятование о погибели, о смерти движет в определенной мере и созданием повести В. Распутина «Прощание с Матерой». И, очевидно, именно поэтому В. Распутин выбирает показ ухода под воду целого обжитого людьми острова, стоящего посреди реки Ангары. Словно прежняя русская жизнь, как Атлантида, должна уйти под воду, но что-то святое нужно взять в Ноев ковчег, плывущий в лоно технической цивилизации, — это волнует автора. «Дело совершенно не в защите старой деревни, как полагали некоторые критики, — говорит об этом В. Распутин. — Речь идет о духовном мире миллионов людей, который преобразуется, уходит и завтра будет уже не таким, как сегодня» [10. С. 146]. Состояние, в котором находятся герои, в некотором смысле сродни апокалипсическому: не умереть, когда вокруг и даже нечто в тебе умирает. И через покаяние можно удержать то, что все же достойно сохранения. Принципиально именно сохранение качества внутреннего «текста», когда внешний может быть утерян.

Следует оговорить то, что у каждого народа существует примерно одинаковый список значимых ценностей, таких как хлеб, жизнь, смерть, война, детство, добро. Функционально схож быт всех народов: необходимо чем–то есть, на чем–то готовить, чем–то накрываться. Как заметил Г. Гачев, исследуя национальные образы мира, сложность выявления их различий в том, что «та или иная национальная картина мира может прорисовываться лишь в целом исследовании, тогда как в каждой точке рассуждения можно выдвинуть возражение, а почему это, например, только у болгар так? Ведь это у всех!» [11. С. 47]. Такая же сложность существует при выявлении национальных типов экзистенциирования. Нельзя сказать, что в белорусской «деревенской прозе» всегда «текст» природы, гомоморфически превращаясь в этический смысл, уподобляет себе, преобразовывая, внутренний мир героя. И что в русской этого совсем нет. Нельзя сказать, что, например, покаяние — предмет изображения и интенций, характерный только русской литературе, а другим — нет.

Мы говорим о регулярном проявлении качества экзистенциирования, которое обнаруживает герой, как только оказывается в ситуации, выражаясь соответствующей терминологией, проговаривания к нему Бытия. Мы говорим о количественном преобладании в нём определенных черт и о различии состава его приоритетов. К примеру, колодец как предмет быта присущ всем народам, но какую разную по приоритету позицию он занимает, и какое разное экзистенциальное напряжение может задать в способе бытия личности, живущей в пустыне, и — личности, живущей в родниковом краю. Вспомним библейскую ситуацию с колодцем, которую пережили как экзистенциальную Агарь с сыном Измаилом, выгнанные Сарой из дома вникуда! Как заметил Г. Гачев, главное отличие национальных образов мира состоит в том, что эти общечеловеческие ценности у каждого народа имеют свой особый акцент в их понимании и, главное, они сложены в неповторимую структуру.

Мы же утверждаем различие позиций в иерархии параметров экзистенциирования в каждом его национальном типе и от этого — разность качественного наполнения и вариативности этих параметров у разных народов.

Как нам думается, русский тип экзистенциирования составляют: напряженное сохранение веками заложенного в русскую душу способа бытия (проверенного прославленным историческим путем, пройденным этим великим народом), причем сохранение именно до самого конца, даже перед лицом смерти, и — более — до конца Света, а также — покаяние во всяком отступлении от этого способа бытия.

Национальное созревание русского народа никогда не было прервано. Даже татаро–монгольское иго (оно не было игом национальным, религиозным, культурологическим, бытовым, языковым) не могло изменить его особого, отличного от других этносов способа существования в ***этой*** *природе*, с ***этим*** *бытом*, согласованного с ***этим*** — от земли до звезд над головой — *окружающим «проговаривающим» Бытием*. И поскольку у русского народа так много уже состоялось, то важнейшая задача его экзистенциирования состоит в том, чтобы сохранить веками добытое устроение русской души, которое позволяет никогда не терять приобретенное качество отноше-

ний с Абсолютом и постараться сберечь ту природу и те сакральные принципы быта, через которые эти отношения были налажены.

В белорусском типе экзистенциирования мы найдем те же, что и в русском, значимые элементы: личность, способ бытия личности, Абсолют и — природа и быт, события судьбы, посредством которых Абсолют «разговаривает» с героем.

Но исторически сложилось так, что созревание белоруской национальности постоянно прерывалось, сопровождалось процессами ассимиляции и даже сознательного разрушения. Поэтому во внутренне выстраиваемых отношениях с Абсолютом выработалась способность восстанавливать из пепла или практически с нуля национально индивидуальный способ бытия личности в белорусской природе, с белорусским бытом. Даже когда быт разрушен войной или бедствием, даже когда погибли деды и прадеды — белорус должен смочь быть самим собой, не потерять своего национального «я». Примечательно, что в отравленной природе и стертом быте чернобыльской зоны белорусский герой находит незагрязненный радиацией и человеческим злом Млечный путь, с взгляда на который выжженный трагедией «текст» души начинает писаться заново, с белого листа (доктор Валетов из повести В. Карамазова «Краем Белого пути»). Такая «деревенская» проза предлагает читателю героя, в котором способ индивидуального и национального самоосуществления присутствует в концентрированном виде.

Именно творчество Виктора Карамазова занимает особое место в художественном отображении белорусского типа экзистенциирования. Будучи уже зрелым писателем, в одной из статей он обронил признание, что его никогда не покидало чувство, что в природе существует своеобразная «вакцина» против лжи. Как эта вакцина действует и что происходит с людьми, не получившими «инъекцию», стало для него постоянным предметом изображения. Примечательной удачей творчества В. Карамазова следует считать то, что оно позволяет наиболее подробно установить характерные черты белорусского типа экзистенциирования. Он состоит из пяти ступеней:

1) Карамазовский герой (чаще всего не сознательно, а душевной реакцией на красоту) *выбирает* себе чувство (и его силу) к природе,

2) через это ему открывается соответственный (написанный в нерукотворной среде) экзистенциальный «текст», который в зависимости от *выбора* чувства (любовь / ненависть / игнорирование) может быть деструктивным либо животворящим (созидательным),

3) в процессе такого контакта происходит согласование (как гомоморфические структуры) между душевным содержанием персонажа и «прочитанным» в природе, т. е. внутренний мир личности перестраивается, многие ценности занимают более уточненное положение,

4) это опредмечивается в быту — он тоже приобретает согласованность с Бытием и становится вторым «текстом»,

5) а также проявляет себя во всех остальных сферах человеческой деятельности, например: в любви, профессии, психологии социального поведения, а - значит - и в результатах судьбы.

У Егора Полушкина, героя романа «Не стреляйте в белых лебедей», в чем–то самом главном идеально сложенная структура души. Процесс экзистенциирования героя задавался тем, что события, люди хотели изменить внутренний склад Егора. Его даже прозвали Бедоносцем. Но и смерть не смогла изменить самой жизнью подаренный тот способ быть, вершить себя, без которого Егору невозможно себя самоиндифицировать.

Не смог Полушкин зачерпнуть красоту раннего утра, чтобы принести ее людям, а Михаил Волошко смог. Но это потому, что сам Егор внутренне переполнен красотой мира, и он уже просто одним своим существованием непрерывно отдавал ее каждому, кого приводил ему очередной день.

Не может быть и речи о преимуществе одного типа экзистенциирования над другим. Если привлечь наблюдение Г. Гачева, который, анализируя повесть И. Радичкова «Горячий полдень», утверждает, что болгары в принципе прикованы сознанием к детству, к началу жизни, то можно выстроить гипотетически утверждение, обращенное еще к вавилонскому разделению народов (языков).

Полагаем, что белорусский тип экзистенциирования вследствие предельно испытательной (на грани миров) исторической «страды» нашего этноса напрямую связан с христианской идеей открытости и «образоуподобления» Богу. Видимо, отсюда это неустранимое

сильно развитое национальное качество — толерантность, с ее низким порогом адаптивности.

Русский тип связан с сохранением канона, скрижалей святости, покаянием и памятованием об Апокалипсисе. В этом содержится и то, что сохранение православия — миссия, в первую очередь, русская.

Болгары связаны с евангельской заповедью: «Будьте как дети».

И если через Бытие, творения, события и дожди Абсолют проговаривает каждому народу, то национальные типы экзистенциирования народов мира складывают единый «текст» (ранее утерянный в Вавилоне) и в нем не должно быть пробелов.

Идея национальных типов экзистенциирования затрагивает очень большой круг явлений: от литературы, литературоведения до национализма (фашизма в частности) и терроризма, ибо является фактором сознания самоиденцифицируещего и поступающего.

Литература

1. *Карамазаў В.* Дзяльба кабанчыка, выбранае. Мінск, 1988.
2. *Васильев Б.* Избранное в 2-х томах, т. II. Москва, 1988.
3. *Карамазаў В.* Падранак. Мінск, 1968.
4. *Астафьев В.* Царь-рыба. Минск, 1987.
5. *Кудравец А.* Сочинение на вольную тему. Москва, 1986.
6. *Распутин В.* Повести. Минск, 1989.
7. *Карамазаў В.* Спіраль. Мінск, 1974.
8. *Мележ І.* Людзі на балоце. Мінск, 1995.
9. *Лейдерман Н.* Парадоксы «Русского леса» Л. Леонова. «Вопросы литературы». 2000. № 6.
10. *Распутин В.* Быть самим собой. // Вопросы литературы. 1976. № 9.
11. *Гачев Г.* Национальные образы мира. Москва, 1988.

В.М. Стрельцова (Минск)

Экспансия авторского «я» в современной автобиографической прозе

Поиски своего «я», «путешествие в жизнь» с целью обретения себя — это тот проблемный узел литературной реальности, на котором сфокусированы сегодня многие заинтересованные взгляды.

Литература создаётся человеком, для человека и ради человека. Эта антропоцентрическая сущность изящной словесности позволяет осмыслить её как способ самопознания личности, выражения индивидуальности. Приблизиться к пониманию сложных процессов самовыражения помогает изучение того аналитического и духовно-эстетического опыта, который положен в основу автобиографического творчества, в частности, автобиографической прозы.

Через автобиографизм выявляется суть человеческой ситуации, её насущность, как во внешнем (социальном), так и во внутреннем (мировоззренческом плане). Не будет преувеличением утверждение, что проблема автобиографизма имеет отношение к литературе в целом, так как своеобразие писательской индивидуальности, конкретика её биографического и психологического опыта неизбежно отражается в структуре произведения. Однако, как известно, в литературе существует целый ряд собственно автобиографических жанров и жанровых форм (мемуаров, дневников, документальных и беллетризированных автобиографий, эпистолярия и т. д.), где автор ведёт открытый разговор о себе и своей жизни.

Общественно-политический контекст конца 80-х — начала 90-х годов XX столетия создал благодатную почву для оживления белорусской автобиографической прозы. Огромное количество писательских мемуаров и дневников, лирических миниатюр и записей, эпистолярных публикаций, которые появились в печати в это время,

даёт основание говорить о *возникновении новой тенденции в развитии национальной литературы.*

Усиление автобиографического начала, *тенденция экспансии авторского «я»* — определяющая особенность развития белоруской прозы конца 80-х — 90-х годов XX столетия. Она отразила уникальность исторического и социально-психологического момента, который засвидетельствовал не только интерес (авторский и читательский) к факту и документу, но и активизировал процесс реализации новых возможностей.

1985–1995 гг. — значимое десятилетие в истории национальной литературы. Общественно-политические сдвиги совпали с поворотом в общественном сознании. В это время происходит переосмысление жизненных явлений на новом мировоззренческом уровне, что подготавливает почву для создания произведений иного ценностного толка. Ослабление цензурного пресса в конце 80-х — начале 90-х годов создало новые условия для формирования художественной и общественной мысли, пересмотра идеологических позиций, художественных явлений и подходов. В литературный оборот активно включаются произведения, которые были написаны раньше, в период функционирования социалистической системы, однако из цензурных соображений не публиковались. Став фактами литературы в перестроечные и постперестроечные времена, они полноценно вошли в литературный процесс (лагерные воспоминания С. Граховского, «Споведзь» Л. Гениуш, «Сцежкамі жыцця» (вторая часть) П. Медёлки, «Аповесць для сябе» Б. Микулича и т. д.).

В целом выражение авторского «я» стало более активным, свободным и эта степень открытости, недостижимая прежде и для писателя, и для читателя, естественно, приобрела огромную притягательность. Здесь нет ничего удивительного, ведь автор, конечно же, имеет потребность быть искренним. А то, что результаты этого самовыражения плодотворны также и для читателя, подтверждает пристальная заинтересованность автобиографическими произведениями А. Адамовича, В. Орлова, В. Бечика, Я. Брыля, Л. Голубовича, Л. Дранько-Мойсюка, В. Колесника, В. Карамазова, М. Купреева, И. Науменко, П. Прудникова, Я. Скрыгана, А. Семёновой и др.

Заметим, однако, что явление, о котором идёт речь, едва ли можно назвать принадлежностью исключительно белорусской литературы. Названная тенденция, бесспорно, охватывает целиком восточнославянские литературы, хотя, конечно, в каждом случае имеет свои особенности. Интерес к автодокументальной прозе сегодня никого уже не удивляет, полноценность её не оспаривается. Более того, — в России, например, две наипрестижнейших литературных премии 1996 года (Буккер Большой и Малый), изначально задуманные в поддержку традиционной «классической» романистики, были присуждены двум мемуарно-дневниково-эссеистическим произведениям С. Гандлевского и А. Сергеева. А несколько раньше эту награду получил автобиографический «Упразднённый театр» Б. Окуджавы. Публикации автобиографических произведений В. Астафьева, А. Битова, В. Маканина, Ю. Нагибина, Е. Попова, А. Рыбакова, которые прежде успешно утвердили себя в области сюжетной романистики и новеллистики, также свидетельствуют о неслучайности творческой переориентации этих авторов.

Автобиографическая проза, за счёт сочетания документального и личностного начал, даёт уникальную возможность сделать наблюдения над тем, как выглядит наша человеческая ситуация сегодня, *здесь и сейчас*, не только исходя из скороговорки средств массовой информации, спонтанных дискуссий в общественном транспорте или споров у рыночных прилавков (их, кстати, тоже нужно принимать во внимание), но также сообразуясь со зрелым размышлением творческой личности, для которой раздумье о жизни и людях является профессиональным долгом. Хорошо известно, что писательская мысль, вооружённая художественной интуицией, иногда идёт далеко впереди научной и политической логики. Об этом в своей книге «Неминуемое: Ускоренное развитие литературы» интересно рассуждает Г. Гачев. «...Не только духовная, но и вся общественная жизнь народа в определённые периоды может целиком совпадать с развитием литературы и через неё может быть определена» [1. С. 32], — пишет он и далее ссылается на известные слова А. Герцена о том, что у народа, который лишён общественной свободы, литература — единственна трибуна, с высоты которой этот народ заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести.

Сегодня, когда даже самые горячие оптимисты достаточно сдержанно оценивают перспективы национально-культурного белорусского возрождения, а само понятие «белорусская идея» воспринимается чуть ли не как мифологема; когда устойчивым признаком нашего ежедневного существования стал культурный (иногда вынужденный, иногда добровольный) голод — жизнь превратилась в «пустыню массового варварства и утилитаризма» (Т. Манн). Но — есть надежда. Есть даже уверенность в том, что предыдущее десятилетие, сложное своей неоднозначностью, полицентризмом, однако насыщенное в отношении утверждения национальной и духовной самотождественности, — обязательно принесёт свои плоды. Какие — покажет время.

Литература неотлучна от общекультурного процесса, а культурное поле у каждого времени и каждой нации — своё: со специфическими, свойственными именно данной ситуации критериями и оценками. «Каждая эпоха имеет уверенность, будто владеет каноническим содержанием произведения, рассуждает Р. Барт, — однако достаточно немного расширить границы истории, чтобы единственное содержание превратилось во множественное, а закрытое — в открытое» [2. С. 350]. Известны и обратные случаи, когда конкретика произведения утрачивает свою злободневность и тот сиюминутный смысл, на котором удерживалась его популярность, становится «закрытым» для читателя. Таким образом, социально-исторический фон, принципы эстетического анализа, ценностные приоритеты, этический императив, художественные каноны имеют устойчивость в пределах определённого, довольно ограниченного хронологического и культурного пространства. Как справедливо заметила Л. Гинзбург, точка зрения меняет материал. Эта точная мысль касается, конечно, не только изящной словесности. Ещё и упомянутым обстоятельством, помимо отличия политических и идеологических ориентаций, очевидно, объясняются несовпадения в анализе нашей сегодняшней ситуации украинскими, российскими, западноевропейскими исследователями и СМИ. Событие и явление, определяемые с точки зрения иной этнокультурной позиции, приобретают, случается, чуть ли не обратный смысл.

Что же происходит в нашем литературном и духовном пространстве сегодня? Как реагирует на эти процессы автобиографическая проза, через которую, как известно, самый короткий путь к выражению индивидуальности, самопознанию личности?

Оживление автобиографической прозы, как уже отмечалось, одна из самых существенных особенностей развития белорусской национальной прозы 90-х годов. Отдельные, достаточно устойчивые черты этой тенденции начали последовательно выявляться в литературе уже с середины 80 х гг. Вообще, как известно, в основе каждого творческого явления, которое многократно возобновляется, лежит определённый психический комплекс. Так же и в литературе: настойчивое стремление к воссозданию однородных явлений обычно воспринимается как устойчивая тенденция — и истоком её действительно выступает комплекс социально-психологических, культурно-исторических и собственно литературных причин.

Что же дало толчок тенденции усиления автобиографического начала (экспансии авторского «я») в современной белорусской прозе?

Во-первых, как нам представляется, здесь сыграли свою роль особенности социальной психологии, которая долгое время формировалась под влиянием коллективистских стереотипов, где нормой считалась гипертрофия обобщёного «мы» и почти полное небрежение личным «я». Перестроечные общественные процессы «запустили» компенсаторные механизмы, и легализованное внимание к личности, к индивидуальности стало выявляться масштабно и последовательно.

Во-вторых, названные психологические процессы происходили на фоне способствующих общественно-политических изменений и были ими обусловлены. Замена ситуации подцензурности в отношении печатного слова на демократическую породила волну так называемой «новой искренности», исповедальности, принципиальной открытости.

В-третьих, смена жанрового диапазона вызревала исподволь как реакция на то, что в отечественной литературе долгое время имели преимущество крупномасштабные формы, искусственные сюжетные конструкции, идеологизированная пропагандистско-агитационная проблематика. Трансформация литературной тради-

ции по принципу противоположности — явление не новое. Когда-то, например, натурализм возник как вызов романтизму: он демостративно показывал ситуации отвратительные и мерзкие, протестуя против чрезмерно соложавых мечтательности и возвышенности.

Таким образом, комплекс названных разноаспектных причин в конце 80-х и 90-е годы XX столетия вызвал к жизни «оперативную» литературу мало- и среднеформтных жанров с выразительной личностной доминантой, автодокументальной основой и сюжетом, соответствующим самодвижению жизни.

В жанрово-стилистическом и изобразительном многообразии сегодняшней белорусской автобиографической прозы можно достаточно определённо выделить два полярных направления:

— традиционное, которое ориентируется на освоенные в достаточной степени прежней литературной практикой возможности национальной реалистической школы (В. Бечик, Я. Брыль, С. Граховский, П. Прудников, И. Шамякин и др.);

— новаторское (модернистское), в котором встречаются неожиданные ассоциативные ходы, элементы эпатажа, абсурдизма, а иногда и акцентация внимания на кризисных, даже патологических состояниях человеческого сознания (А. Глобус, Л. Дранько-Мойсюк, С. Дубовец и др.)

Характерной чертой автобиографической прозы конца 80-х и 90-х годов является устойчивый акцент на вопросах духовного, национального и культурно-языкового возрождения. Это пристальное внимание к обществено- политическим процессам и к вопросам утверждения национальной самотождественности объясняется культурно-историческими особенностями формирования белорусской нации, а также конкретными особенностями ситуации перестройки социального и индивидуального сознания на рубеже 80-х и 90-х годов XX столетия. Как справедливо замечает в своём эссе «І шлях, і мэта, і ісціна» белорусский писатель и литературовед М. Тычина, «такая сосредоточеность на себе и собственных проблемах не должна выглядеть национальным эгоизмом, а тем более чудачеством в то время, когда национальные проблемы для большинства цивилизованных народов в основном разрешены» [3; С. 16].

Подобные процессы происходили когда-то в южно-славянском регионе, например, в болгарском обществе периода национальго возрождения. Конечно, здесь следует учитывать хронологические и конкретно-исторические расхождения, а также то, что в Беларуси процесс национального возрождения не приобретал такого размаха и масштаба, как на названных южно-славянских территориях. Исследуя народно-освободительное движение прежде всего как историю формирования национального сознания, культуры, языка и изящной словесности, болгарский литературовед Г. Димов отмечает, что литература того времени была «своеобразным барометром, который показывал вызревание национального сознания, своеобразным отражением ренессансных национально-политических, философско-нравственных, интеллектуально-творческих процессов» [4; С. 175].

Действительно, интересный материал для исследования типологии национального характера даёт анализ возрожденческих движений на примере сопоставления белорусской и болгарской литератур (а также македонской, сербской, украинской). Социально-политическая доминанта, которая в определённые периоды объединяет их, имеет совсем иное проявление в русской литературе, где традиционно — от классической прозы Достоевского и Чехова до сегодняшней многоликости российской романистики, новеллистики, эссеистики и художественной публицистики — характер воспринимается как мера самоопределения личности на фоне детерминизма обстоятельств. При этом акцент делается обычно на психологическую природу, а не на социальные судьбы.

Психологическое и аналитическое течение новой белорусской прозы, начиная от произведений М. Горецкого и К. Чорного, также обращено к постижению внутренней, глубинной жизни личности, однако экзистенциальные размышления героев только изредка обретаются в сферах отвлечённо-абстрактных. Здесь очевидна склонность к эмпирике, к жизненной конкретике, которые реализуют себя через бытовой и социальный пласты. В нашей литературе существует сквозной тип героя, который из произведения в произведение задаёт самому себе и читателю один и тот же вопрос: кто есть я, белорус, в этом мире? Где мои корни? Такой рефрен имеет, как известно-конкретно-исторический фон и веские причины, в ре-

зультате которых зыбкость национальной ситуации стала тревогой и болью — иногда неосознанными — для многих поколений. Среди таких причин могут быть названы: во-первых, особенности самоидентификации белорусов, во вторых, — общий для всех восточнославянских народов феномен идеологического зомбирования, порождённый тоталитарной системой.

В фокусе автобиографического произведения — сущность человеческой ситуации, её злободневность, поэтому совсем неслучайно, что произведения, отличные по форме, по способу подачи материала, по художественну замыслу имеют неожидано устойчивые схождения и параллели. Сосредоточенность на бытовых реалиях, национальных и социальных проблемах, жёсткая «географическая» привязка долгое время были основанием для обвинения белорусской литературы в провинциальности, тематичсской ограничености. Однако, опыт восприятия жизни через «малый мир», законы которого являются общезначимыми это художественный приём, который хорошо известен в мировой литературе. И воспринимается он как полноценный, свойственный конкретной творческой индивидуальности, вариант освоения действительности. О нём, как об изобразительном художественом принципе, ещё вначале 70-х годов справедливо писал литературовед Л. Арутюнов: «Художник в пределах “малого” объекта выражения стремится охватить национальную жизнь вообще, “микромир” становится аналогом “макромира”» [5; С. 174]. И, вспоминая о локальности сюжетной площади отдельных произведений У. Фолкнера, Г. Гарсия Маркеса, И. Друце, Ч.Айтматова, исследователь прослеживает, как, казалось бы, *случайно* выхваченное зорким писательским взглядом из общего течения, жизненное пространство как будто и не теряет примет обычной, конкретной местности, но в то же время превращается в нечто совершенно особенное, тождественное *миру вообще*, — и сосредоточивает в себе глобальные проблемы бытия [5. С.174].

Думается, что в отношении белорусской литературы настойчивое возобновление такого приёма должно восприниматься не как ограниченность и провинциальность, а как специфическая форма освоения действительности, свойственная именно этому, конкретному, *белорусскому типу национальной и социальной культуры.*

Интересно, что такой «Космо-Психо-Логос» (Г. Гачев) национального миропостижения сохраняет свою устойчивость даже при условии смены тематического и географического пространства. Своеобычность генетически и исторически закреплённой художественной логики пронизывает прежде всего смысловые структуры произведения. Взять хотя бы автобиографическую повесть-эссе Л. Дранько-Мойсюка «Стомленасць Парыжам», где ощущается несвойственная нашей литературе ориентация на опыт французской сюрреалистической школы. Здесь писатель сознательно отстраняется от насущных вопросов, социально-исторического контекста, бытовых пластов реальности. Романтически утончённая, порой едва ли не эстетская вязь его прозы представляет собой изобретательный ассоциативный монтаж литературно-художественных аллюзий, внутренних монологов, психологических экзерсисов, эпатажных пассажей, неожиданных формотворческих приёмов, герметических образных конструкций. Но даже в пределах конкретно поставленной задачи (направленной на ослабление внешнего актуально-социального пласта), на отдалённом географическом расстоянии (обозначенном восточноевропейскими координатами) автор всё же время от времени мысленно переносится в родные «восточнославянские палестины». Даже волшебство парижских улиц не может заглушить ту естественную для каждого сознательного белоруса душевную боль, которая порождена шаткостью сегодняшнего духовного, языкового и культурного состояния нации. «Мы живём, — размышляет писатель, — на территории неустойчивой, которая блуждает, которую легко сбить с пути» [6; С. 159]. Однако, не склонный драматизировать, автор воспринимает такое положение вещей не как трагедию, а как особенность. «В том, что мы такие и родина наша такая, — ничего катастрофического не вижу, — продолжает он. — Вижу характер нашей немощёной улицы, противоположный характеру ухоженного европейского бульвара» [6. С. 159-160].

Последующее художественно-философское обоснование путей выхода из кризиса, которое даёт писатель, конечно, имеет характер условный, однако здесь очерчено его понимание неоднозначности исторической судьбы нации и ответственность за эту судьбу. Он

пишет: «Нам ещё нужно выжить, и мы выживем, если поймём: жизнь вечная не потому, что она обманна, а потому, что она прекрасна, если в своём церковно-костёльном разделе не забудем, что христианство нам дано еще и как тяжкая забота — это значит, что мы, белорусы, должны жить с большей нравственной энергией, с большим терпением, чем наши более сильные соседи» [6. С. 121].

Так это или нет? Известно, что укрепление духовно-нравственных основ человечества невозможно без национального самоосознания. А без утверждения его невозможен и настоящий писатель. Истина давняя и справедливая.

Я — белорус. Вот тот элемент мета-языка, тот символический посыл, который писательское «ego» непрерывно излучает в читательский космос. Очевидно, такая устойчивая доминанта обусловлена кризисным состоянием сегодняшних социальных, духовных и культурно-языковых процессов в Беларуси.

Документально-художественная проза минувшего десятилетия не просто ищет ответы на «извечные вопросы» — она жаждет присутствия «в знаковом пространстве мира отражения белорусского опыта, закрепления формул национальной психологии и национального бытования» [7; С. 144]. Автобиографическая проза снова и снова обращается к проблемам осмысления духовных и исторических проблем нации. Она шлёт сигнал бедствия. И ни в одной из славянских литератур этот «SOS» не звучит сегодня так настойчиво и отчаянно, как в нашей национальной литературе.

Литература

1. *Гачев Г.* Неминуемое: Ускоренное развитие литературы. М.: Худ. лит., 1989. С. 32.

2. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994, С. 350.

3. *Тычына М.* I шлях, i мэта, i iсцiна // Беларусь. 1997. № 10. С.16.

4. *Димов Г.* Формирование и развитие новой болгарской литературы и процессы национального возрождения // Современные проблемы литературоведения и языкознания. М.: Наука, 1974. С. 175.

5. *Арутюнов Л.Н.* Национальный мир и человек // Изображение человека. М.: 1972. С. 174.

6. *Дранько-Майсюк Л.* Стомленасць Парыжам: Вершы і эсэ. Мінск: Маст. літ., 1995. С. 159.

7. *Залоска Ю.* Дыялогі з Васілём Быкавым. Мінск: Маст. літ., 1995. С. 144.

Л.Н. Горелик (Минск)

Потенциал и перспективы белорусской поэзии

Конец XX — начало XXI столетий — далеко не лучшие времена для белорусской поэзии, но не будем забывать, что литература и искусство знали не только расцвет «золотого» века, но и замедленность течений «бронзовых» веков.

Некоторые весьма отрицательно воспринимают «эволюционный дарвинизм» литературного процесса. «Теория процесса в литературе, — считал Осип Мандельштам, — самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая смена, каждое такое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого «лучше», никакого прогресса в литературе быть не может...» [1. С. 9].

Безусловно, подобное утверждение провоцирует дискуссию и заставляет еще раз задуматься над перипетиями современного литературного процесса, непрерывность которого очевидна даже в самые неблагополучные времена. Наряду с утратами вырисовываются какие-то новые тенденции, открываются новые явления. «Как ни удивительно, — рассуждает один из участников дискуссии «Противоестественный отбор?» Б. Петрович, — пик популярности массовой литературы всегда приходился на конец — начало очередных столетий, а собственно литература существовала где-то рядом» [2]. И нельзя не согласиться с мыслью писателя о том, что во все времена литература жила и выживала не благодаря массовой, бульварно-детективной, а, наоборот, наперекор «мыльным сериалам» низкопробного чтива. Хотя, может быть, к поэзии подобное утверждение относится в меньшей степени.

К белорусской литературе последних десятилетий, в том числе и поэзии, нельзя подходить упрощённо, с однозначными измерениями, так как на протяжении этого времени происходило и происходит много непривычного, непредсказуемого. Изменения в общественном сознании не всегда приводили к желаемым результатам, перечёркивая определённые достижения, полученные ценой больших усилий, поэтому не удивительно, что в поэзии порой начинали звучать нотки растерянности, неудовлетворенности, даже отчаяния:

Згублены арыенціры,
Зруйнаваны ідэалы.
Гандляр прымярае парфіру,
Паэт — штаны чынадрала.

(В. Зуёнок «Згублены арыенціры...»)

Как бы мы, однако, ни характеризовали XX столетие с его катаклизмами и стрессами в социальной и духовной жизни общества, какие бы претензии ни предъявляли, в целом оно было всё же благотворным для ускоренного развития нашей литературы.

В начале столетия поэзия творчеством Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа прекрасно влилась в мировой контекст. Голос поэтов следующих поколений также услышан мировой общественностью.

Поэтам 1960-х судьбой было предназначено сказать свое веское слово о детстве, обожженном войной (Рыгор Бородулин, Геннадий Буравкин, Вера Верба, Анатолий Вертинский, Степан Гаврусёв, Нил Гилевич, Олег Лойко, Евдокия Лось, Владимир Короткевич, Янка Сипаков, Михась Стрельцов). Генетическая память незабываемых исторических событий болью отозвалась и в творчестве тех, что родились после войны и в литературу входили в 1970–1980-е годы (Таиса Бондарь, Раиса Боровикова, Сергей Законников, Ольга Ипатова, Валентина Ковтун, Галина Корженевская, Нина Матяш, Владимир Некляев, Алесь Рязанов, Евгения Янищиц и др.).

Глобальная проблема выживания человечества, озвученная в поэзии конца 1950 — начала 1980-х годов (в стихах и поэмах Владимира Короткевича, Аркадия Кулешова, Пимена Панченко, Алексея Пысина, Алексея Русецкого, Максима Танка), ее гуманистическая ориентация являются актуальными и в начале XXI столетия.

Сегодня в поэзии, по существу, главную службу несут три или, точнее, четыре смены даровитых избранников судьбы: поэты-фронтовики, дети войны и «ссмидесятники», которые «прыйшлі на зямлю, як на ёй пасвятлела» (С. Законников), а также поэты, вошедшие в литературу в последние десятилетия XX и в начале XXI веков.

Созданные общими усилиями поэтов разных поколений эстетические ценности — это и есть тот огромный духовный потенциал, тот мощный заряд творческой энергии, что на долгие годы, а может, и десятилетия останется основной движущей силой литературного процесса, стартовым ориентиром для взлёта юных талантов и тем прочным фундаментом, на котором возводится современная модель художественного мировосприятия.

В этой модели сконцентрированы прежде всего широта и неординарность личностного видения окружающего мира, неустанное стремление к новизне творческих исканий. Основными чертами являются конфликтность ситуаций, контрастность изображения, богатая насыщенность гаммы мировидения: от самых светлых, радужных до самых мрачных, серых, темных, трагических тонов и полутонов.

Образ окружающего мира видится неприукрашенным, без грима, наполненным не только радостью, ощущением гармонии (лирика пейзажная, стихи о любви), но и огромной вселенской болью, страданием, дискомфортностью (произведения чернобыльской тематики, творчество репрессированных поэтов и белорусской эмиграции).

В поэзии конца 1980–1990-х годов (время неравное, «раздробленное», помеченное интенсивными изменениями в общественном сознании), как и в других литературных жанрах, по-своему, взволнованно прозвучали мотивы национального возрождения, возобновления исторической памяти народа как знак преодоления межнациональных барьеров и присутствия в контексте мировой литературы. Одним из основных условий «выхода в люди» является способность к национальному самовыражению. Изображенная в лучших произведениях белорусских писателей самобытность народа в зависимости от глубины художественно-психологического исследования национального характера и сущности менталитета — та

сила притяжения, которой обусловлена заинтересованность мирового сообщества к Беларуси, ее истории и современности.

Одним из наиболее значительных достижений белорусской поэзии, как и литературы в целом, является стремление к раскрепощенности мышления и усиленная акцентация личностного начала. Однако, не стоит забывать, что свобода мышления ориентируется на общечеловеческие эстетические и морально-этические ценности и не имеет ничего общего со вседозволенностью, разнузданностью и цинизмом.

К сожалению, представители творческой богемы (особенно молодые) иногда забывают, что искусство — изображение категории прекрасного и, перешагивая черту приличия, опускаются до брутального уличного сленга, ругательства, тем самым унижая и себя, и своё творение, и читателя, которому оно адресовано.

Свобода мышления как свидетельство наиболее полной реализации творческого потенциала — одно из необходимых условий расширения тематических координат белорусской поэзии, полифонизма, полихромии ее художественной палитры, что проявляется в настойчивом обращении к классическим традициям и вместе с тем к авангардистским течениям. Пример тому — книги, где наиболее явно выражены противоречия своего времени: «Міласэрнасць плахі» (1992) Р. Бородулина, «Заклён на скрутны вір» (1994) А. Велюгина, «Пісьмы з гэтага свету» (1995) В. Зуёнка, «Правінцыйныя фантазіі» (1995) М. Купреева, «Неўміручасць» (2000) О. Лойко, «Высокі бераг» (1993) П. Панченко, «На зломе лёсу» (1995) А. Русецкого, «Мой свеце ясны» (1986) М. Стрельцова, «Errata» (1996) М. Танка и др.

Важным событием в общественной жизни страны явилось знакомство с обнародованной репрессированной литературой, на протяжении десятилетий хранившейся в рабочих столах бывших узников ГУЛАГа (произведения Л. Генеюш, С. Граховского, А. Звонака, П. Прудникова). Большой резонанс в конце 1980-х вызвали «Паэма тугі» А. Бачило и «Балючая памяць» С. Граховского.

Начиная с конца 1980-х годов печатаются стихи и проза, выходят книги поэтов белорусской эмиграции (Н. Арсеньевой, В. Дудицкого, В. Клишевича, А. Соловья, М. Седнёва и др.), а также

сборник стихов «Туга па Радзіме» (1992). В лице авторов поэзии «між берагамі» читатели увидели не столько идеологических противников, сколько людей с нелегкими, изувеченными репрессиями, войной и другими обстоятельствами судьбами.

Белорусские читатели на рубеже XX–XXI столетий наконец получили возможность прикоснуться к библейским мотивам, образам, от которых были отлучены на протяжении десятилетий воинствующего атеизма. Подтверждение — книги, названия которых являются красноречивым свидетельством: В. Аксак «Цвінтар» (1992), «Капліца» (1994), И. Богданович «Вялікдзень» (1993), Р. Бородулин «Евангелле ад Мамы» (1995), Д. Бичель-Загнетова «Божа мой, Божа» (1993), Н. Гилевич «На высокім алтары» (1994), Ф. Жичко «Святога вечара чакаю» (1995), Н. Матяш «Душою з небам гавару» (1999), В. Шнип «На рэштках Храма» (1994).

Давайте, однако, подумаем, всегда ли мы бываем искренними в общении с Богом, не чрезмерно ли мы меркантильны в своём обращении к Нему, чаще отдавая дань моде, превращая подлинную веру в легкомысленную игру. На подобное обстоятельство обращает внимание читателя Р. Тармола-Мирский, высмеивая в одном из своих стихотворений тех, кто ждёт от Бога только определённых индульгенций отпущения грехов, чтобы со спокойной душой продолжать грешить по-новому. Нищие выпрашивают на похмелье, кто-то ждёт депутатских мандатов и других неоправданных презентов.

Очевидно, что в подходе к аналитическому исследованию современной белорусской поэзии как существенной части литературного процесса правомерно выделить два основных принципа реализации проявлений хаокосмической гармонии, две грани художественной модели мира: гармонически-контрастное мировосприятие в зависимости от того, каким краскам в палитре художника отдаётся предпочтение.

Традиции литературной классики ощутимы прежде всего там, где художественной доминантой является гармоническая согласованность мыслей и чувств лирического героя, по большому счету не конфликтующего с окружающей средой, хоть и не всегда удовлетворенного местом под солнцем, что наиболее характерно для пейзажной лирики (некоторые стихи Д. Морозова, Т. Мушинской,

Г. Пашкова, А. Письменкова), стихов о любви (книги Р. Боровиковой «Каханне» и «Сад на капялюшыку каханай», Т. Борисюк «Аўтапартрэт», Л. Дранько-Майсюка «Стомленасць Парыжам») и, безусловно, поэзии христианской ориентации.

Современная поэзия — отражение, зеркало национального менталитета и вместе с тем часть его элитарного самовыражения. Словно в зеркале, в ней высвечивается не только возвышенное, но и безобразное, не только небо, но и бездна. И соответственно переливаются все цвета радуги, спектры дня и ночи, выси и дола. Контрасты реальности наиболее явно отражаются в книгах М. Башлакова «Пяро зязюлі падніму» (2001), В. Гордея «Межань» (1999), Г. Корженевской «Асенні мёд» (1999), И. Прокоповича «Шляхі наканаванага бязмежжа» (1999), А. Сыса «Пан Лес» (1989).

Условно-ассоциативный подтекст, метафорическая образность, темные, сумрачные тона, ощущение душевного дискомфорта особенно характерны для произведений урбанистической и чернобыльской тематики.

Урбанистические мотивы присутствуют и во многом определяют проблематику в книгах Л. Голубовича «Споведзь бяссоннай душы» (1989), О. Минкина «Расколіна» (1991), Л. Рублевской «Замак месячнага сяйва» (1992), С. Шах «Пад высокай лагодай нябёс» (1995). «Я ў горадзе — гаротны, як ізгой», — жалуется лирический герой Л. Голубовича, — неуютно ему на городском асфальте. Лирический герой Д. Морозова в книге «Гронка зорных суквеццяў» (1998) также ищет успокоения для души на Батьковщине, в родной деревне.

На заре XX столетия, М. Богданович заметил, что Пегас с полевых дорог свернул на улки города, имея в виду Вильно. Через сто лет, в начале нового века, он уже, очевидно, окончательно поселился на городском асфальте. Современная деревня переживает далеко не лучшие времена. Молодежь, как правило, уезжает в города в поисках своего счастья. Мышление компьютеризируется, оказываясь в плену у виртуальной реальности.

Драматизмом и трагедийностью особенно помечены произведения чернобыльской тематики: поэмы М. Башлакова «Лілея на цёмнай вадзе», С. Законникова «Чорная быль»; многие стихи в книгах А. Конопелько «Летазлічэнне» (1999), О. Курганич «Начное

сонца» (1994), Л. Невдоха «Чорнае святло» (1998). Острой болью наполнены размышления о судьбах отселенных из «зоны» деревень в книгах А. Зэкова «Чарнабыльскі вецер» (2006) и М. Метлицкого «Палескі смутак» (1991), «Бабчын» (1996), «Хойніцкі спытак» (1999).

В творчестве поэтов 1980 — начала 2000-х годов явно засвидетельствованы различные направления поисков художественного отображения реальности. Одни отдают предпочтение гармонически согласованной модели окружающего мира (В. Аколова, И. Богданович, Л. Дранько-Майсюк, А. Комаровский, А. Письменков, С. Явар), не исключающей, однако, полихромию и контрасты; другие же в поисках инноваций чаще выходят за рамки традиционной поэтики (О. Куртанич, Л. Романова, Л. Рублевская, Л. Сильнова, М. Скобла, В. Слинко, А. Сыс (умерший преждевременно), В Шнип).

Что касается молодых поэтов, в последние годы дебютировавших первыми книгами стихов, то некоторые отдают предпочтение традиционной манере самовыражения: Елена Гинько «Пяшчота пры журбе» (2003), Рагнед Молоховский «Беражніца» (2005). Однако, чаще всего внимание молодых привлекает нетрадиционное, свободное, раскрепощенное звучание разговорных интонаций. Верлибризация становится почти закономерностью современной поэзии: Всеволод Горячка «Даты» (2004), Валерия Кустова «Каб неба сагрэць...» (2004), Оксана Спринчан «Вершы ад А.» (2004), Анна Тихонова «Фільтры сноў» (2003), Вика Тренос «Цуд канфіскаванага дзяцінства» (2005) и др.

Характерными чертами многих произведений являются рефлексия, самоспостижение собственного «Я», сгущенная метафоричность, насыщенная цветовая гамма, воспроизводится поэтика контрастов и диссонансов, конфликтных ситуаций, динамика света и теней. Всё это приближает к поэтике авангардизма.

Сжатая панорама современной поэзии позволяет выделить несколько типов лирического героя. В одних случаях это личность целеустремленная, гармоническая: романтически возвышенная, довольная своим местом под солнцем (преимущественно в пейзажных зарисовках, стихах о любви, поэзии христианского содержания). В иных же — это современный маргинал, который от земли оторвался и неба не достал, душа рвётся ввысь, грехи тянут к земле. Отсюда

соответствующее настроение. Жизнь видится в серых и мрачных тонах, он конфликтует с окружающей средой, не доволен собой и всем, что происходит рядом. Свидетельство тому — стихи и поэмы чернобыльской (человек с зоны) и урбанистической (изгой в городе, блудный сын на отцовской земле) тематики. Репрессированная поэзия открыла еще одни тип трагической личности, жертвы сталинского ГУЛАГа — человека за колючей проволокой. Нельзя не вспомнить и человека «між берагамі» в поэзии белорусского зарубежья.

Какой же лирический герой видится в перспективе?

Однажды у Ч. Айтматова спросили, как ему представляется развитие национальных литератур. «Им нужно понять прошлое, — ответил писатель, — но в новом аспекте, это значит показывать человека не только как социальное явление. Разница в том, что мы показываем коллективизм человека, а западная литература — сильные индивидуализм и эгоизм. Литература должна научиться все сочетать» [3].

Усиление личностного начала и полная реализация творческого потенциала могут воплощаться только через национальное сознание и менталитет своего народа. Необходимыми условиями являются свобода мышления и свобода выбора, ориентация на гуманистические идеалы, исключающие вседозволенность. Преимущество в перспективе, безусловно, будет отдаваться не разрушительным, а созидательным тенденциям.

Благотворность патриотического воспитания непосредственно связывается с национальным самосознанием, глубоким интересом к истории народа, его исторической памяти и родовым корням.

Поиски образных, сюжетных и формообразующих инноваций в будущем будут продолжаться на перекрестках всемирных и национальных литературных и фольклорных традиций, а также различных авангардистских направлений.

Необходимым условием для дальнейшего развития белорусской поэзии, как и литературы в целом, видится улучшение общественной ситуации, связанной с возрождением статуса языка титульной нации в условиях билингвизма, культуры и истории народа.

Литература

1. *Поль Верлен. Артюр Рембо. Стефан Малларме.* Стихотворения. Проза. М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1998. С. 9.
2. Советская Белоруссия. 2004. 23 декабря.
3. Литературная газета. 1997. 8 октября.

И.Г. Бавтрель (Минск)

Современный белорусский сонет

В переломные эпохи, когда возникают новые эстетические системы, литературные направления и школы, писатели часто обращаются к опыту предшественников. Замечено, что сегодня большой популярностью начинают пользоваться твердые стихотворные формы, среди которых выделяется сонет. Причины этой популярности заложены в первую очередь в природе самого сонета. Немецкий поэт И.Р. Бехер, известный своими теоретическими разработками вопросов художественного творчества, в статье «Философия сонета, Или маленькое наставление по сонету», называет его законченной формой совершенного содержания, совершеннейшим же образом представляющей поэтический принцип, в котором «с наибольшей четкостью выражен закон искусства, состоящий в том, чтобы самыми экономными средствами достичь наибольшего эффекта» [1. С. 198].

Теоретики этого уникального поэтического жанра в первую очередь отмечают легкость восприятия сонетной формы. «За многовековую историю многонациональной мировой поэзии, — пишет О. Федотов, — сонет как самая совершенная ее форма не мог не появиться. Оптимальная порция лирического высказывания — легко обозримая, воспринимаемая и запоминаемая, — если присмотреться к опыту выдающихся мастеров прошлого и настоящего, колеблется между тремя и четырьмя четверостишиями, то есть как раз в пределах 14 строк» [2. С. 5]. Все эти особенности делают сонет своеобразным авторским художественным пересотворением действительности, преодолевающим хаотичность жизни совершенной художественной формой, в которой широкий диапазон чувств и мыслей поэта сочтается с его техническим мастерством.

На протяжении истории своего существования белорусский сонет изведал взлеты и падения. Нельзя сказать, что в предыдущие

периоды литературного развития этот жанр был обделен вниманием стихотворцев, однако новый, можно сказать, постоянный интерес к нему наметился в современной белорусской поэзии последних десяти–пятнадцати лет. Об этом красноречиво свидетельствуют факты литературной жизни. Так, в 1991 году вышла книга З. Морозова «Апакаліпсіс душы», — опыт первого в европейской литературе венка венков сонетов, а в 2002-м была издана «Анталогія беларускага санета» (составитель и автор предисловия Е. Хвалей), представляющая вниманию читателей произведения более семидесяти авторов. Несмотря на это, белорусский сонет попадает в поле зрения литературоведов не так часто, как того заслуживает. Спектр проблем, требующих исследования, весьма широк. Еще в середине 80-х годов XX века В. Лебанидзе писал: «Современная теория сонета отражает не всю полноту его бытия, а лишь один из его полюсов — тот полюс, в пределах которого форма и содержание сонета соответствуют друг другу по законам классической гармонии» [3; С. 52]. Второй полюс, где происходит значительное преобразование или уничтожение сонетной формы без разрушения жанрового канона, остается недостаточно изученным. Этот вопрос для нашей (и не только нашей) литературы остается актуальным по сей день. Современный белорусский сонет не отличается излишне смелыми экспериментами в области формы, но уверенно подтверждает, что, образно говоря, твердая форма — форма не застывшая и не отвердевшая.

В белорусской сонетистике есть две традиции. Одна из них — каноническая, строго следующая установленным правилам. Ее основоположник М. Богданович создал классически правильные образцы сонета. Вторая — традиция Я. Купалы, постоянно нарушающая общепринятые законы во имя свободы творчества. Известный белорусский стиховед В. Рагойша дает ей следующую характеристику: «Как известно, Янка Купала заложил свою, купаловскую, традицию белорусского сонетописания, которая характеризуется — при сохранении основных архитектонических особенностей сонета (четырнадцать строк, два катрена и два терцета, связанные соответственно двумя и тремя рифмами) — относительно свободным отношением к его стихотворному размеру и рифмовке» [4. С. 197].

Нетрудно предугадать, какую из двух традиций выбрала для себя современная поэзия, если принять во внимание хотя бы тот факт, что сам М. Богданович писал также сонеты, сильно отличающиеся от классических образцов, и выбрал для перевода на русский язык самые «неправильные» сонеты Я. Купалы. Современные авторы при создании новых произведений в большинстве случаев следуют купаловской традиции, почти всегда оставляя без изменений «инвариантную» форму сонета, выработанную к нашему времени мировыми школами поэзии. Как известно, существуют три основных вида сонета: итальянский (два катрена перекрестной или охватной рифмовки на два созвучия и два терцета на два или три созвучия перекрестной рифмовки), французский (два катрена охватной рифмовки на два созвучия и два терцета на три созвучия, параллельно скомпонованных в двустишие и катрен) и английский (три катрена перекрестной рифмовки и двустишие). Современные белорусские авторы отдают явное предпочтение двум первым. Английский тип сонета не получил широкого распространения несмотря на то, что за этой формой со времен Шекспира закрепилось и сохраняется (в большинстве случаев) философское содержание, т. е. как раз то, чем характеризуется современный белорусский сонет в целом. Нашей поэзии знакомы и так называемые аномальные варианты сонета, но широкого распространения они не получили.

Тематика современного белорусского сонета очень разнообразна. Сначала хотелось бы обратить внимание на ту тематическую особенность рассматриваемой твердой формы, которая выделяет ее среди остальных.

В европейской поэзии широкое распространение получил «литературоведческий» сонет, беруший начало в творчестве теоретиков сонета. Это единственный в мировой литературе случай, когда о поэтическом жанре создана своеобразная «гимнография», в его же канонически изящной форме. Русская литература, например, в освоении данной твердой формы следовала сложившейся традиции и имеет в своем арсенале множество образцов классического сонета о сонете. В белорусской литературе наблюдается несколько иная ситуация. В нашу поэзию сонет пришел достаточно поздно, в начале XX столетия, в совершенно иную эпоху, определившую особенности развития национальной литературы. В этом процессе преемст-

венность традиций играла очень важную роль, но не менее важной была и необходимость создания в белорусском литературоведении собственной теоретической базы. В 1911 году М. Богданович написал работу «Санет. Тэарэтычна–гістарычны нарыс», а в 1927 году вышла «Тэорыя санета» Е. Боричевского. Эти труды, хорошо известные не только отечественным ученым, и на сегодняшний день остаются едва ли не единственными специальными монографическими исследованиями по теории сонета в белорусском литературоведении. В этом нам видится одна из причин (может быть, и главная) того, что белорусские «литературоведческие» сонеты не стали стихами о твердой форме. К ним с определенными оговорками могут быть причислены произведения, посвященные родоначальникам белорусского сонета, — Я. Купале, М. Богдановичу, В. Жилке, Ю. Фарботке. В современной поэзии это сонеты «Усё хараство жыцця у музыцы чароўнай...», «Максіма Багдановіча магіла...» Э. Волосевича, «Сын Налібоцкай пушчы» Е. Хвалея и другие. Появляются также сонеты-подражания, созданные на основе произведений знаменитых предшественников, и сонеты-заимствования, где определенный элемент одной художественной системы переносится в другую (сонеты «Снежань» В. Машко, «Каханне», «Запушчаны палац у Лявонпалі», «Sonare» С. Панизника). Э. Акулин написал акропоэму «Шлях да Радзімы», где каждый из четырнадцати сонетов начинается строкой из сонета М. Богдановича.

Говоря о тематике сонета, нужно помнить о том, что «по большей части за твердыми стихотворными формами закрепляется и более или менее твердое содержание» [5. С. 436]. Сонет возник как жанр любовной лирики. К этой теме постоянно обращаются почти все современные белорусские авторы, и представить себе сонет без нее просто невозможно. Но в море тематического разнообразия рядом с общепринятым и утвердившимся всегда есть то, чем отличается та или иная национальная литература от других.

Впервые в белорусской поэзии сонет появился в творчестве Я. Купалы (стихотворение «Жниво», 1910 г.), который обращался к этому жанру в самые трудные моменты белорусской истории. Национальный вопрос, «вечный» и «проклятый» для нашей литературы, — основная (хоть и не единственная) тема купаловских сонетов.

Одной из таковых остается она и для современной поэзии, поскольку ее актуальность и значимость не утрачены до сих пор.

Во всей европейской литературе и в белорусской в частности «давно переросший былое свое определение («твердая стихотворная форма») сонет взял на себя высокую миссию жанра психологической, интеллектуальной, философской лирики» [6. С. 20], значительно расширив привычные тематические рамки. Такие особенности современной литературы, как автобиографизм, пристальное внимание к внутреннему миру личности и проблемам человеческих взаимоотношений повлияли и на сонет. Многие стихотворения написаны в форме обращений, посвящений и посланий, часто это автопортреты или портреты современников и знаменитых людей прошлого.

Сложная стихотворная форма — венок сонетов — определилась в нашей поэзии к концу 60-х годов XX века. Она требует точно выраженной мысли, кропотливой работы со словом, тонкой шлифовки художественной формы. Тем не менее, это не помешало ей стать популярной в белорусской литературе. Из последних достижений этой сложной жанровой формы следует назвать венки сонетов «Гонар твой жаночы» В. Соболя, «Бабіна лета ў Белаазёрску» Н. Матяш, «Птах» С. Шах. Появляется также множество сонетных циклов, включающих в себя достаточно большое количество стихов (иногда более двадцати), которые с полным основанием могут быть названы поэмами. К. Герасимов пишет: «Возможности сонетного цикла по масштабам охвата действительности сравнимы с возможностями произведения любого другого жанра, если не превосходят их. (...) Заметим здесь, что на пути превращения в одну из строф большего по объему стихотворного целого сонет теряет главное: способность благодаря диалектической сущности своей структуры быть (несмотря на сжатость объема) целым — и самостоятельным, и своеобразным — поэтическим миром. Иное дело, когда сонет, объединяясь по тем или иным признакам с другими на равных началах и не теряя при этом своей независимости, художественной завершенности своего микрокосма, сияет в созвездии сонетов цикла звездой своей собственной величины» [6. С. 28]. Тронутые этой жанровой модификацией, циклы сонетов белорусских авторов часто напоминают мозаичные полотна, составленные из разных по цвету

и форме фрагментов. Объединенные под одним названием, стихи просто не могут вылиться в законченные строфы, потому что описывают предмет, явление, чувство очень по-разному, с разных сторон. Они порой настолько различны, что, например, рассматривая их по два-три вне цикла, нельзя установить между ними связь. Это одна из причин, обуславливающих достаточно большое количество сонетов в цикле, которое, в свою очередь, перерастая в качественный показатель, позволяет циклу конкурировать с другими, объемными жанрами. Такие поэтические формы служат прекрасной иллюстрацией тематического разнообразия современного белорусского сонета.

К подлинной художественной удаче следует отнести цикл сонетов М. Малявки «Беражыце родны свет, нашчадкі...», эту (удивительно вместившуюся в ложе сонетного канона) исповедь поколения, все еще именуемого в расхожем обиходе «филологическим», выходцев из «страды» послевоенного села, рекрутирующего и поныне кондовых носителей родного языка и национального менталитета, поэтической генерации глубокого болезнования о своей «малой родине», так и не примирившей в своем нынешнем «городском» бытии угасание кормилицы — деревни с призрачными достижениями прогресса, по словам поэта, «эдэма из огня и стали», — с нашим всеобщим, нынешним покаянным возвращением из прожитой под «марши энтузиастов» богоборческой эпохи, как евангельских «блудных сыновей», к Богу, под благодатно охранительную сень Храма.

Цикл состоит из 21 сонета без названий и рассказывает о летнем путешествии автора на свою малую родину. Красоты белорусского пейзажа, воспоминания о матери, военное детство, мелодии деревенского скрипача, голос любимой на старой пленке, разговор с маленькой дочкой, боль и переживания за судьбу умирающей деревни, наказ будущим поколениям, — все это и многое другое нашло отражение в стихотворениях М. Малявки. В сонетах цикла господствует стихия воспоминаний, служащая связующим элементом между произведениями. На форточку садится бабочка — и воображение начинает рисовать милые сердцу картины, переносит «свет у сонцы і ў расе» в новое столетие: «Не счэзлі ў адчужэння далях смутных // Ні галасы людзей, даўно адсутных, // Ні краявідаў мяккае святло, // Ні маты-

лёк такі ж з радзімы мілай, — // Усё на міг у памяці ўсплыло, // Хвалюе ў новым веку з новай сілай».

Перед глазами автора яркими картинами проходит вся его жизнь с детства до настоящего времени. Центральное место в этом цикле занимает образ дома, образ–архетип. Хата — это то место, где человек родился и рос, где познавал радости и тяготы жизни. В белорусской литературе с ее культом женского начала это — «матчына хата», куда ласточкой прилетает душа самого дорогого на свете человека, чтобы посмотреть на сына. Это — символ пустеющей деревни, с тихой надеждой ожидающей возвращения своих детей, деревни-хранительницы родного языка и старинных обычаев предков, символ большой и малой родины. Автор наделяет дом живой душой, делает его своим собеседником и единомышленником: «Адзін у хаце спадчыннай начую. // Прачнуўся рана і, здаецца, чую, // Як хата, выціраючы слязу, // Па маці з бацькам стоена ўздыхае. // Я малако ёй з горада вязу — // І плачу сам, хаця шчака сухая».

Возвращение в родные места — это прежде всего возвращение к истокам духовности, высоких моральных принципов и гуманизма. Через образы родного дома и малой родины писатель, а вместе с ним и его читатели, воспринимают весь огромный мир. Цикл заканчивается сонетом–наказом будущим поколениям:

Які прыўкрасны свет!.. І дзьмухавец,
І святаяннік, і чабор, і смолка.
Смяюцца дзеці. Мёд збірае пчолка.
Па лузе бусел ходзіць, як касец.
Гамоніць лес грыбны з канца ў канец.
Уночы светла — хоць збірай іголкі,
А днём над Мікалаўшчынай вясёлка
Гарыць як свету гэтага вянец.

Шкада, не ўсю красу мы захавалі,
Будуючы эдэм з агню і сталі.
Не паўтарайце нашых горкіх слёз
І беражыце родны свет, нашчадкі, —
Увесь,
Ад ніў і рэчак — да нябёс,
Ад храма ў вёсцы — да птушынай хаткі.

Рассмотренный цикл — безусловно, не единственный в своем роде. У этого же автора есть еще два цикла, написанные в последние годы — «Слязой сплывае з неба зорка...» и «Жыццё гартае Божая рука», в которых ощутима типологическая перекличка с библейским циклом Р. Бородулина, и, в частности, с посвященными матери «Палынавымі санетамі».

Сегодня, на рубеже веков, белорусская поэзия активно ищет новые формы и способы отражения действительности. Сонет, позволяющий органично совмещать смелость новизны с гармонией классики, в этих исканиях занимает особое место, что свидетельствует как о творческой зрелости отдельного писателя, так и литературы в целом.

Литература

1. *Бехер И.Р.* Философия сонета, или Маленькое наставление по сонету // Вопросы литературы. 1965. № 10. С. 201.
2. *Федотов О.* Сонет серебряного века // Сонет серебряного века. Русский сонет конца XIX – начала XX века. М.: Правда, 1990. С. 5.
3. *Лебанидзе В.* «Сонеты к Орфею» Рильке и проблема полноты теории сонета // Гармония противоположностей. Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси: Изд-во Тбил.ун-та, 1985. С. 52.
4. *Рагойша В.П.* Структура санетаў Янкі Купалы як перакладазнаўчая праблема // Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: Матэрыялы Міжнар.навук.-тэарэт.канф.(Мінск, 3–4 кастр. 2002 г.) / Рэдкал.: У.В. Гніламедаў (гал.рэд.) і інш. Мн.: Бел. навука, 2002. С. 197
5. *Гаспаров М.Л.* Твердые формы // Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 436.
6. *Герасимов К.С.* Диалектика канонов сонета // Гармония противоположностей. Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси: Изд-во Тбил.ун-та, 1985. С. 20.
7. *Мікола Маляўка.* «Беражыце родны свет, нашчадкі...» // Полымя. 2004. № 6.

Е.А. Городницкий (Минск)

Проблема художественного мировоззрения

Учитывая современное состояние литературоведения, эстетики, философии и других гуманитарных наук, сегодня при рассмотрении проблемы художественного мировоззрения становится невозможным сведение ее исключительно к непосредственному выражению идей в произведении. Хотя традиция такого подхода еще не совсем в прошлом. Перед литературоведческой наукой открываются в настоящее время иные перспективы. Все более пристальное внимание обращается на возможности исследования взаимоотношения мировоззрения и поэтики на уровне художественной образности, языка, стиля. Одна из важнейших задач, стоящих ныне перед белорусским литературоведением, заключается в определении концептуальных идей литературы, исходя из анализа их художественной адаптированности, текстовой воплощенности, структурной выраженности.

В. Максимович, исследуя своеобразие художественного мышления классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, подчеркивает, что многих упрощений во взглядах на сложные процессы, происходившие в двадцатые годы прошлого столетия, можно избежать при условии «непредвзятого, аналитического поиска глубинного смысла в каждом отдельно взятом произведении, образе, мотиве» [4, С. 189]. «Художественно-мировоззренческая, идейная доминанта творчества» Янки Купалы, по мнению исследователя, в разные по своему общественно-политическому содержанию периоды сохраняла в себе нечто постоянное, актуальное и для нового времени. Выразить свое отношение к реалиям современности поэту в значительной степени помогала художественно осмысленная традиция, эстетика «нашенивского» возрождения, «апробированная система поэтического языка, по-

строенная в основном на условно-ассоциативной, символико-аллегорической образности» [4, С. 191].

Безусловно, исследование способов проявления мировоззренческих примет в художественной форме, ее образных и структурных сегментах, не отменяет иных методов анализа мировидения автора. В литературном произведении может иметь место и прямое выражение идей и концепций писателя, его размышлений над жизнью. В этих случаях медитации автора и его героев составляют верхний уровень текста. В первую очередь это касается публицистических жанров, где автором ставится перед собой задача непосредственного воздействия на сознание реципиента. По-своему выявляются мировоззренческие черты и в притчевых нарратологических структурах.

Когда объектом исследования являются мировоззренческие основы литературного творчества, необходимо учитывать многообразие трактовок самого понятия *мировоззрение*. В литературе ориентированность на бытийные категории, соотнесение взглядов человека с духовными и онтологическими ценностями предстает как примета философичности. В этом случае мировоззрение понимается расширительно, как выражение не только отношений социального характера, но и отношений к миру в целом, к универсуму. Если же речь идет о художественном мировоззрении, то необходимо иметь в виду также и определенные воздействия на становление творческой индивидуальности, личности художника, его самоидентификацию.

В белорусской литературе ХХ века эти процессы, издавна свойственные для эстетического самоосознания творца, приобрели исключительно динамический и выразительный характер. Они взаимно переплетаются, дополняя друг друга. С одной стороны, усиливается тенденция к философско-нравственным исканиям в литературе, осмыслению автором и героем основных закономерностей бытия, его сущности, места человека в мире и его предназначения. С другой — сам процесс художественного творчества начинает все более заинтересовывать автора, а в какой-то степени и читателя. Искусство, литература как существенные явления культуры, сферы духовной и материальной деятельности человека, которая в наше время становится почти такой же ощутимой и близкой,

как и первичная реальность, воспринимаются не как нечто маргинальное и необязательное, а как важнейшие из составляющих экзистенции человека, функционирования цивилизованного общества.

Динамичный, постоянно изменяемый мир, в котором живет человечество, в котором живут отдельные народы, определенным образом взаимодействует и соотносится с таким же динамичным и способным к трансформациям художественным миром. Поэтому национальной литературе все время необходимо учитывать, что она существует в сфере взаимодействия этих сообщающихся миров.

Следует отметить, что соотношения и связи между сферой художественного сознания в его различных проявлениях и литературным произведением, текстом, творчеством писателя обозначаются целым рядом близкозначимых понятий, таких как *художественный мир, поэтический мир, другая реальность, художественный космос и т. п.* Некоторые из них метафоричны в большей степени, некоторые в меньшей, но сущность их употребления в качестве определенного термина сводится к обозначению некоей общей для концептуальных построений и образных воплощений области.

Активно используются в современном литературоведении также такие термины, как *картина мира, образ мира.* Они в известном смысле синонимичны, однако существует различие в сфере их употребления. Понятие *картина мира* в большей степени используется в нарративно-описательных опытах, а *образ мира* более близок поэтической парадигме.

Термин *художественный мир* многими исследователями ставится все-таки на первое место в ряду близкозначимых. Ф. Федоров, автор книги о романтическом художественном мире и его пространственно-временных измерениях, следующим образом объясняет преимущества именно этого термина: «Термин “художественный мир” представляется более предпочтительным, так как указывает на связь искусства с объективным миром и одновременно констатирует его как мир, созданный художником (писателем, живописцем, музыкантом и т.д.), что предполагает его особую структуру» [5, С. 433].

Теория литературы в наше время все в большей степени приобретает черты общетеоретического и философского характера, все в

большей степени сближается с теорией искусства, философией и культурологией. Процесс этот закономерен, он является результатом углубления понимания механизмов функционирования сознания человека, мышления, языка, культуры.

Однако, философская составляющая литературной теории — только одна из ее сторон. Не менее пристальное внимание современные теоретики литературы обращают и на поэтику, художественность литературы, ее стилистическое своеобразие.

Теоретическому дискурсу требуется своеобразное заземление, конкретизация, привязка к определенной системе координат. Только при условии сохранения подобной двухполюсности, т. е. и обобщающих, абстрагирующих, синтезирующих подходов, и аналитического проникновения в ткань художественного произведения, становится возможным для теоретического литературоведения не потерять предмет своего исследования.

Категорией, которая объединяет собой сферу идей и концепций, метафизику с материально-предметными свойствами бытия, образами и реалиями действительности, как раз и является, как нам представляется, категория **художественный мир**. Эта категория философско-эстетическая. И в то же время в литературоведческих исследованиях она соотносится с задачами аналитического проникновения в структуры вербального текста.

Понятие *мир* используется при обозначении содержательно-формальной общности, которая предстает в сознании читателя в процессе восприятия и реципиентного преобразования произведения. Подобным же образом означается и то, что составляет обобщенное представление творческих интенций автора, воплощенных в художественно-образной форме, в виде определенной семиотической структуры. Мы привыкли к таким выражениям, как *мир Купалы, мир литературного произведения*. В большинстве случаев они воспринимаются как своеобразные метафоры, но при этом в них все же ощущается и определенный терминологический смысл. Несомненно, существует необходимость, как теоретическая, так и практическая, в таком широком понятии, в философско-эстетической категории, которая охватывала бы собою двуединый, диалектический процесс креации / рецепции, в ходе которого реальность пере-

осмысляется и трансформируется в соответствии с художественными законами.

Самый существенный вопрос, возникающий в связи с определением семантики понятия *художественный мир*, это вопрос о том, является ли он чем-то *привнесенным* в произведение, тем, что можно «считать» с помощью соответствующего семиотического кода, или он представляет собой воплощение имманентных свойств литературы как художественного творчества.

Категория **мир**, сама по себе масштабная и всеобъемлющая, вступает во взаимодействие с другими понятиями, более локального характера, неизбежно получая при этом определенную характерность и семантическую очерченность. Использование понятия *мир* как бы заранее предусматривает сочетание с существительным в родительном падеже. Мир ***чего***?

При любом использовании понятия *мир* в отношении к литературному творчеству в нем сохраняется референтная семантика. В большинстве случаев, пользуясь этим термином, мы имеем в виду мир, так или иначе связанный с реальностью *внехудожественной*, мир действительности, определенным образом изображенный, интерпретированный, смоделированный в литературном произведении. Если при этом добавляется определение *художественный*, то в этом случае, конечно, в большей степени акцентируются имманентные свойства литературного творчества, но сам процесс референции все же имеет место и дает о себе знать. Художественный мир чаще всего воспринимается как мир, освоенный искусством, преображенный им. Если же мы оперируем выражением *мир художественного произведения*, то в таком случае акценты смещаются в сторону поэтики, структурных и композиционных особенностей произведения. Хотя опять же хочется подчеркнуть, что референтность, связь воплощенного в произведении с действительностью сохраняется в любом случае, проявляясь, безусловно, в разной степени.

Понимание недостаточности распространенного представления о художественном мире как исключительно прямом отображении действительности в произведении, стремление показать своеобразие художественного претворения реалий легло в основу известной статьи Д. Лихачева «Внутренний мир художественного произведения».

Именно эта работа послужила, по мнению многих современных литературоведов, отправным пунктом для основательных исследований данной проблемы. Характерным является присутствующее в названии определение *внутренний*. Внутреннее предусматривает своего антагониста — внешнее. Однако в данном случае имеется в виду такое внутреннее, которое представляет собой особую целостность.

Д. Лихачев как раз и делает основной акцент на целостности как самом определяющем свойстве художественного мира. Эта целостность представляет, по его мнению, явление специфически художественное. «Отдельные элементы отраженной действительности, — замечает ученый, — соединяются друг с другом в этом внутреннем мире в некоей определенной системе, художественном единстве» [3, С. 74].

Особенно плодотворной и перспективной для методологии дальнейшего изучения особенностей воплощения художественного мировоззрения в тексте литературного произведения является идея Д. Лихачева о близости категорий *художественный мир* и *стиль*. «Художественный мир произведения, — делает в заключение выводы автор статьи, — объединяет идейную сторону произведения с характером его сюжета, фабулы, интриги. Он имеет непосредственное отношение к стилю языка произведения. Но самое главное: художественный мир словесного произведения обладает внутренним единством, определяемым общим стилем произведения или автора, стилем литературного направления или «стилем эпохи» [3, С. 87].

Рассмотрение художественного мира как явления близкородственного стилю в его широком смысле представляется значительно углубляющим семантическое поле обоих этих понятий. Действительно, именно стиль, как выражение единства содержательных и формальных сторон и аспектов литературного творчества, наиболее близок по своим идейно-художественным показателям художественному миру. Обе эти категории имеют объединительный, синтезирующий характер. Они соединяют в себе мировоззренческие и художественные, образные элементы литературного творчества, объединяют концептосферу и поэтику.

Изучение стилевой выраженности художественного мировоззрения представляется необычайно важной проблемой, имеющей методологическое значение. Углубленное понимание художествен-

ного мира литературного произведения как сложного взаимодействия самых разнообразных внутренних и внешних сторон должно содействовать критическому отношению к пока еще довольно распространенной практике (особенно в школьном обучении) рассматривать «содержание» в отрыве от способов его *осуществления* в художественной форме.

Заявляемые во многих учебниках и учебных пособиях по методологии анализа литературного произведения принципы целостного подхода на деле часто оказываются лишь формальными заявками, не подтверждаемыми практическим воплощением. Думается, для уяснения действительного своеобразия художественного мира литературного произведения более важным может оказаться определенное смещение акцентов, преобразование выражения *целостный анализ* в формулу *анализ целостности.*

Из многочисленных работ, посвященных проблеме анализа литературного произведения, следует выделить монографию М. Гиршмана «Литературное произведение: Теория и практика анализа», в которой методология изучения содержательно-формального единства раскрывается многосторонне и глубоко. Слово в его стилевой воплощенности, как считает автор, становится в литературном произведении «не просто средством обозначения, но формой существования изображаемых событий, переживаний, действий в художественном мире» [2, С. 4]. Обращая внимание на то, что текст в его лингвистическом значении и литературное произведение не являются тождественными понятиями, автор как раз в стиле обнаруживает возможности выхода из мира слов к миру, ощущаемому как эстетическая реальность. «Стиль в его эстетическом значении, — подчеркивает М. Гиршман, — делает непосредственно ощутимым переход от многообразия элементов, из которых состоит художественный текст, к единому миру, который несводим не только к сумме элементов, но и к их системно-конструктивному взаимодействию. В отдельном слове он соотносится с принципиальным смысловым избытком, в этом слове воплощенном, но ему не принадлежащем. А во всем произведении стиль превращает текст в ту неразложимую на обособленные части целостную индивидуальность, которая только и позволяет говорить о творческом

воспроизведении единства жизни в созданном автором художественном мире. Именно выражением этого единого и неделимого мира, в каждом моменте которого присутствует его творец, и является стиль» [2, С. 4–5].

Белорусское литературоведение уделяет достаточно пристальное внимание проблеме стиля. При этом преобладает подход к стилю как выражению содержательно-формального единства произведения либо творчества писателя в целом. С. Андреюк в предисловии к сборнику «Стиль писателя», замечает, что стиль «не сумма определенных художественных приемов, не их та или иная комбинация. Стиль — это система, которая органично в себя включает, синтезирует все компоненты художественной структуры» [1, С. 9–10]. Художественное своеобразие белорусской литературы во многом определяется тем, каким образом соотносятся в ней способы предметно-изобразительного освоения действительности, к которым она всегда имела предрасположенность, и средства стилевого выражения. И каким образом в это синтетическое единство приникает аналитическо-концептуальное начало.

Осознавая всю сложность определения художественных законов, дающих возможность взаимодействия и взаимоперехода вербального и реального миров, современное литературоведение, основываясь не в последнюю очередь на осмыслении категорий *художественный мир, стиль*, все же, думается, значительно продвинулось в понимании диалектики литературного творчества. Однако, на этом пути еще многое предстоит открыть.

Литература

1. *Андраюк С.* Да пытання аб індывідуальным стылі пісьменніка // Стыль пісьменніка. Мінск: «Навука і тэхніка», 1974.

2. *Гиршман М.* Литературное произведение: Теория и практика анализа. М.: «Высшая школа», 1991.

3. *Лихачев Д.* Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8.
4. *Максімовіч В.* У пошукавым імкненні (Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа 20-х гадоў) // Полымя. 2004. № 11.
5. *Федоров Ф.* Романтический художественный мир: Пространство и время. Рига: «Зинатне», 1988.

А.Н. Лопато-Загорский (Минск)

Непрерывность литературного развития: от классицизма к синтезу творческого метода

Чтобы разобраться в сущности процессов современных, следует внимательно всмотреться в прошлое. Даже анализ такого далекого от нас явления, как расцвет драмы классицистов во Франции в 17 веке, напрямую связывается с осмыслением сегодняшней литературной ситуации в России и Беларуси, мы эту связь попробуем обозначить.

Дело в том, что существуют глобальные, растянутые на столетия, литературные явления. Они зарождаются в эпохи коренного переосмысления характеристик Вселенной, когда претерпевают изменения в том числе и представления людей о пространстве и времени.

Едва подобные перемены обозначаются, литература сразу начинает также и пересмотр структуры собственно литературного хронотопа. Цель очевидна — необходимо приводить в соответствие параметры господствующих в обществе и используемых литературой моделей пространства и времени. Мгновенно, сразу добиться соответствия невозможно, процесс растягивается на долгие годы. При этом приходится решать ряд промежуточных, но требующих обязательной проработки, вопросов. Само восхождение к итоговому результату подобен тернистой дороге, на которой поочередно штурмуется несколько вершин. И каждую из них следует покорить и освоить.

Не исключено, что всплеск писательского интереса к тому или иному жанру связан во многом с тем, что именно в рамках данного жанра, благодаря его специфике, удается эффективней всего разрешить некую этапную литературную задачу, требующую глубокого анализа. Соответственно, как только подобную ситуацию прочувст-

вуют литераторы, тут и развернется период интенсивной эксплуатации прежде всего некоего, наиболее отвечающего духу Времени, жанрового канона.

То, что тот или иной жанр стал использоваться с повышенной интенсивностью, сразу отметят современники. Причем подобный всплеск, и на это следует обратить внимание, впоследствии зафиксируют и историки литературы, для них он будет различим с дистанции в сто, двести и т. д. лет. Более того, у потомков вообще может сложиться ощущение, что десятилетие или даже дольше в литературе писались, к примеру, только романы в письмах. Или романы исторические. Подобная иллюзия объясняется тем, что сущностные параметры периода, увязываемые с разрешением наиболее актуальных для своих лет проблем, воплотились прежде всего в произведениях «доминирующего» жанра, активно и эффективно использовавшегося авторами.

Всплеск не будет вечен: по мере разрешения поставленной Временем задачи исчезнет соотнесенность специфики жанра и некой потребовавшей скорейшего разрешения проблемы. Популярный недавно жанр отойдет в тень, он, если можно так выразиться, выполнит свое предназначение. Но в литературных анналах останется след «моножанровости». В свою очередь исследователь, изучив последовательность таких вот «моножанровых» вспышек, сможет реконструировать и логику масштабного, связанного с преобразованием самой архитектоники текстов, литературного восхождения.

Достаточно сказать, что такие литературные явления, вызванные переменами в восприятии мира человеком эпохи Возрождения, наблюдаются и в наши дни. А период господства драмы классицистов в 17-м веке — промежуточная ступень данного, растянутого на столетия, литературного преобразования. Вот откуда наш интерес к коллизиям давно минувших дней, вот почему мы намерены разобраться в истоках и причинах той «моножанровости».

Сама специфика такого интереса подсказывает проникновение в материал. Очевидно, что, во-первых, нам следует сформулировать логику преобразований, которые разворачивались в литературе на протяжении 15–16 столетий (т. е. накануне всплеска «моножанро-

вости», предпосылки которого попробуем обозначить), во-вторых, мы очертим промежуточную литературную проблему, которая потребовала разрешения именно в период господства драмы классицистов, и, в-третьих, проверим соотнесенность критериев разработанного классицистами жанрового канона со спецификой проблемы, которую необходимо было незамедлительно разрешать.

Поскольку господство драмы классицистов видится одним из самых продолжительных и ярких периодов «моножанровости» (что говорит о масштабности решенной в те годы литературной проблемы), мы надеемся получить убедительные, не оставляющие места для сомнений, выводы. Думается, не возникнет вопросов и относительно корректности нашего, в чем-то неизбежно обобщающего, проникновения в удаленный от нас и в географическом и в хронологическом отношении материал.

Ведь соответствия нужно уловить принципиальные, максимально общие, вот почему здесь, как ни парадоксально, «плюсом» обернется та абстрактная схематичность видения коллизий, которая в иных условиях выступила бы «минусом» исследования. Излишняя углубленность в детали скорее скроет, чем сделает рельефными те широкие, «в общем», соответствия, которые мы надеемся обнаружить. Так что «взгляд издалека» представляется именно тем ракурсом рассмотрения, при котором обеспечена необходимая «полётность» обзора сопоставляемых величин.

Теперь непосредственно к анализу. Хронологические рамки «моножанровости», которой мы заинтересовались, достаточно размыты. Но в целом, если говорить о расцвете драмы классицистов, можно выделить период с середины 30-х и до середины 70-х годов 17-го столетия. И все эти четыре с лишним десятилетия прошли под знаком доминирования драматургии! Причем доминирования настолько ощутимого, что с дистанции в три с лишним столетия вообще может показаться, будто во Франции в то время писались одни только пьесы.

Симптоматична здесь структура разделов в учебниках по истории литературы того периода. Обычно в них размещают три обширные главы о творчестве Корнеля, Расина и Мольера — и рядом короткие подразделы о прозе и поэзии тех лет. Здесь нас сразу

должно насторожить следующее: на середину 17-го века падает не только акцент на использование жанров драматургических, здесь различим и зримый пробел в эволюции прозы, в частности, нового европейского романа. Изменения, которые происходили до этого, виделись достаточно планомерными, по крайней мере логические мостки между явлениями этапными устанавливаются в прозе достаточно легко. Ибо после неизбежного периода высмеивания норм средневековой условности (это — Сервантес и многочисленные переложения его романа) вполне ожидаемы как попытки чисто механически сдвоить и запараллелить пласты литературной действительности (роман прециозный), так и стремление передать ощущение ускоренности темпов Нового времени путем придания фигуре повествователя максимально допустимой мобильности (линия развития испанской прозы начала 17-го века).

Перехода же к качественно иному уровню, достигнутому Фюретьером в «Буржуазном романе» (1666) и особенно М. де Лафайет в «Принцессе Клевской» (1681), как будто нет. Новые качества взялись словно ниоткуда. Где и как решалась задача развития поэтики прозаических произведений?

Обозначим очевидную суть преобразований в литературе той поры, векторно она уже очерчена литературоведением. Общепризнанно, что в 15-16 столетиях на смену прежней одноуровневой и линейной геометрии непрерывных пространства и времени приходили представления о хронотопе как о многоплановой, разнолокализованной системе. Соответственно та подчеркнутая необозначенность повествователя, которая уместна для поэтики Средневековья, уже не могла использоваться писателями. Ведь в изображаемом ими литературном мире выкристаллизовывались два, а позже три, четыре и т.д. пласта материала, логично возникала необходимость сравнения, сопоставления панорам с целью сведения их в единое художественное полотно. А это требовало придания повествователю активности, стать же активным повествователь невыделенный просто не мог.

Учтем также тенденцию углубления внимания к внутреннему миру человека, которая с эпохи Ренессанса начинает определять динамику литературного развития. То есть едва фигура повествова-

теля, в соответствии с необходимостью обозначить свою активность, начинала становиться различимой, она, по логике второй из тенденций литературной эволюции, сразу же насыщалась внутренними объемом и содержанием.

Попробуем вообразить очередность изменений, которые должны произойти на пути от позиции «невыделенный повествователь рядом с линией одноплоскостного сюжетного развертывания» к позиции новой, «зримый, наделенный внутренним объемом, повествователь, оперирующий с несколькими разнолокализованными пластами материала». Позицию повествователя при этом будем видеть точкой, а литературную действительность, каждый из пластов, представим в виде поля, условной плоскости сюжетного развертывания. А если еще более упрощать, попробуем вообразить смещения относительно друг друга точки и двух листов бумаги.

Так вот, едва произойдет отказ от линейной и одноплоскостной структуры хронотопа (т. е. на месте одного листа появятся два), традиционная для средневековой поэтики невыделенность повествователя (фактически его вплетенность в сюжетную канву) окажется малопродуктивной. Ибо привязав наблюдателя к любому из пластов, практически «утопив» его в реалиях некоего хронотопного поля, факты и события иной пространственно-временной локализации неизбежно увидишь словно сквозь дымку «родной» для такого повествователя действительности. В этом, кстати, один из секретов достигнутых Сервантесом в «Дон-Кихоте» эффектов, аналогичный эффект переноса характеристик «по ракурсу видения» будет возникать, уже неосознанно, при любых попытках использовать фигуру «притопленного» в реалиях одной из действительности повествователя в произведениях с усложненной структурой хронотопа. Что и проявилось в романах прециозных, особенно в тех, где предприняты попытки изображения отдаленных исторических эпох. Повествователь, локализованный в реалиях современной для автора действительности, древних римлян и греков превращал в парижан, разве что одетых в античные туники или тоги…

Вскоре стало очевидно, что между наблюдателем и оцениваемыми им пластами действительности надо предусмотреть дистанцию, в нашей системе из точки и листов бумаги наличие дистанции

условно посчитаем отрывом точки от каждого из листов и ее смещением в любом из направлений. Направлений два: точку, во-первых, можно «зажать» между пластами, и тогда в перспективе не избежишь таких типичных для поэтики барокко особенностей, как, например, хаотичность сопоставления разной локализации тенденций, как неразличимость основных и второстепенных свойств предмета или раздвоенность авторского «я», вызываемая поочередным сближением с каждой из сопоставляемых плоскостей.

А, во-вторых, повествователя можно вознести над двумя пластами материала одновременно. Подобное месторасположение представляется более перспективным в плане обеспечения целенаправленной активности и системной избирательности в обхождении с материалом. Повествователь, который поднялся над пластами, в чем-то уподобляется химику, который может свободно сводить, сопоставлять реактивы, взятые из разных колб и пробирок. Кроме того, именно «надпоставленному» повествователю доступны и «всеведение», связанное с представлениями о предыстории и последствиях описываемых событий, и «всепроникаемость», соотносимая с открытостью глубоко запрятанных и темных уголков человеческой натуры.

Оба направления смещения «точечной» позиции наблюдателя были опробованы литературой, но магистральным, и это объяснимо, стал второй из предусмотренных векторов. Он, кстати, с неизбежностью вел к иерархичной структурированности повествовательной позиции: место рассказчика занимал автор-повествователь. При этом локализация авторской точки зрения («автора») соотносима как раз с вознесением над хронотопными пластами, а наличие института «повествователей» делало возможным проникновение в глубину всех предусмотренных сфер сюжетного развертывания.

Но это в перспективе, а прежде следовало просто вынести позицию автора за пределы хронотопных полей и зафиксировать достигнутую удаленность наблюдателя от областей сюжетного развертывания. Только потом, уже после того, как подобная локализация повествователя вошла в привычку, можно приступать к наработке навыков по активному включению повествователя в процессы сюжетного развертывания.

А теперь присмотримся к оформившейся приблизительно к началу 17 века конструкции «вознесенная над двумя пластами разноорганизованного хронотопа позиция литературного повествователя». Трудно не заметить, что застывший в такой оппозиции к материалу повествователь, уже наделенный определенным внутренним объемом, но еще не наработавший навыки прямого вмешательства в сюжетные коллизии, весьма напоминает по своим характеристикам драматурга, автора драматургических произведений.

Да и натуральное для произведений тех лет смешение пластов действительности, реальной и вымышленной, в театре происходило словно само собой. То, что зритель видел на сцене — это действительность условная, протекающая в особом пространственно-временном измерении, в зале же царили реальное пространство и время. И то сопоставление разноплановых континуумов, которое в прозе пришлось бы долго и тщательно оговаривать, здесь виделось органичным и естественным. Вот они, предпосылки начала эксперимента по совмещению отличных меж собой пространственно-временных пластов, навыки такого оперирования потребовались литературе именно в 17 столетии, и факт, что пресловутое правило «трех единств», разработанное классицистами, содействовало еще большей интенсификации усилий в данном направлении, видится весьма симптоматичным.

Но все же почему поиск сосредоточился по преимуществу в драматических жанрах? Принципиально ответ прост, дело в том, что драма в наиболее чистом виде воплощала в себе структуру сложившегося к тому времени в литературе хронотопа. И прозаик, который писал бы соответствующий литературным устремлениям эпохи роман, неизбежно наделил бы повествователя чертами, уподобляющими рассказчика драматургу, создателю некой пьесы. Стоит ли удивляться, что авторы, наиболее чуткие к вопросам формы, писали не романы, объективно сближенные с пьесами, а пьесы? Те пьесы, в которых, и исследователями это не раз отмечалось, столь многое напоминает о свойственном прозаику видении действительности.

Вот на это стоит обратить особое внимание. Нам, чтобы доказать факт переноса акцентов от прозы к драматургии по причине того, что драма позволяла проще и быстрее решать задачи, стояв-

шие в том числе на пути развития жанров прозаических, необходимо отметить как раз такую, «для прозы», направленность экспериментов французских драматургов-классицистов. И желательно еще на этапе «расхождения», в период, когда проза, обогатившись наработанными драматургами навыками, начнет дальнейшее свое восхождение, увидеть тот инерционный след «драматургичности» видения мира писателями-прозаиками, проявления которого мы, в общем-то, вправе ожидать.

В целом, конечно, акцент на использовании драматических жанров был в ту пору предопределен не одной, множеством причин. К примеру, к началу 17 века далеко не позабылся недавний (всего 30 лет назад творили Шекспир и Лопе де Вега) взлет драматургического искусства, театральные постановки содействовали и актуальным в те годы процессам демократизации литературной жизни, ведь число зрителей тогда куда как превышало число потенциальных читателей. Да и поставленную Временем задачу унификации лексических норм обращение к драматургии ощутимо помогало разрешить.

К тому же роман тогда угодил в своеобразную ловушку. Разбуженный эпохой Великих географических открытий интерес к рассказам о путешествиях в страны заморские, соединенный с привычкой к долгим описаниям, спровоцировал обвальный рост объемов текстов. Не редкостью становились издания многотомные, подобные фолианты находили все меньший отклик в читательской среде — и пьеса с ее возможностью «заместить» описания средствами сценографическими, реквизитными позволяла разрешить еще и эту проблему, резко сократить объем текстов.

Всё это важно, все влияло на жанровые предпочтения литераторов, но не отмахнешься и от следующих фактов: Корнеля современники уважительно величали «бытописцем», вкладывая в такую оценку восхищение точностью и конкретностью введенных им в пьесы описаний. И это, пожалуй, свидетельство сближенности прозаического и драматургического языков той поры, в иных условиях склонность к описательству признали бы явным недостатком драматургического произведения.

А сама стилистика пьес Корнеля, вспомним, действие у него

очень часто разворачивается где-то за сценой, актеры, к примеру, наблюдают битву и подробно сообщают слушателю о всех ее перипетиях? Что это, как не примета переноса на драму хотя бы части задач, которые необходимо было разрешить для развития принципов ведения повествования прозаического, ведь нарабатывался-то навык персонифицированного, от лица рассказчика, повествования. А именно этот навык и требовался для развития норм поэтики нового европейского романа!

Вспомним, кстати, о достаточно любопытной истории: у Расина в юности монахи дважды отбирали роман «Теоген и Териклея». Наученный опытом, в третий раз юноша взял и выучил, от слова до слова, понравившееся произведение. Казалось бы, столь сильная увлеченность подтолкнет его к написанию прозы, — но Расин и не пробует ее писать, грезы, навеянные прочтением романов, он воплощает в пьесы!

Отчасти и в этом разгадка того грустного факта, что имена Корнеля и Расина редко сегодня увидишь на афишах. Ведь по сути их произведения не сценичны, и нам не удастся понять причину восторженного их приема зрителем 17-го века, не оглянувшись на особенности структуры хронотопа той поры, стиравшего грань между прозой и драматургией.

А теперь внимательно смотрим на момент «отрыва», проявлен ли в прозе, вновь вышедшей на авансцену литературной жизни в середине 17-го века, как раз в пору завершения «моножанрово» драматического периода, тот след заимствований «по инерции», о вероятности которого мы говорили. Во-первых, как и следовало ожидать, все наработки драматургов в области ведения персонифицированного (от лица персонажей) повествования прозаиками оказываются сразу подхвачены и задействованы. Не будем здесь углубляться, ограничимся одной, но весьма красноречивой оценкой: «Находки Расина во французской трагедии, а именно глубокое проникновение в жизнь сердца, мадам де Лафайет сделала достоянием романа. И по пути, открытому ею, пошла впоследствии французская проза». (Зарубежная литература. М., 1982. С. 276).

А, во-вторых, в «Принцессе Клевской» М. де Лафайет заметны и такие характерные для стилистики драмы черты, как почти пол-

ное отсутствие описаний, как подчеркнутое дробление сюжетного действия на короткие отрезки, как выведение в романе не персонажей даже, а условных, только названных масок Дофина, Принцессы и т. п.

То есть имеются основания полагать, что всплеск интереса к драматургии в эпоху расцвета драмы классицистов предопределялся в том числе тем, что драме, в силу специфики структуры тогдашнего хронотопа, было «передоверено» решение задач, стоявших на пути развития жанров прозаических. Но при чем здесь день сегодняшний, в чем актуальность рассмотрения ситуации, имевшей место более трехсот лет назад?

Бесспорно, многие из наметившихся в ту пору тенденций нашли продолжение и в произведениях наших дней. Например, в прозе полифонической при передаче повествовательных «микрофонов» современный романист использует фактически ту же технологию, которую разработал в своих пьесах Расин, заставляя поочередно говорить персонажей на сцене. Но это проекции прямые, мы хотели бы обратить внимание на иную, несколько неожиданную, параллель.

Дело в том, что сегодня много говорят о кризисе метода соцреализма, точнее, о явлениях посткризисных, определивших многое в современном литературном процессе. Но никто не пробовал увидеть ситуацию вот под каким углом: в определенной мере господство метода — это «моножанровость», это использование литераторами специфичной структуры литературного хронотопа. Что-то в этой конструкции хронотопа предопределит преимущества метода (в сравнении с другими), именно эти достоинства привлекут писателей искренних, с открытой авторской позицией, которых в погоне за конъюнктурой никак не обвинишь. Внутренней же причиной кризиса следует признать ту неизбежную ограниченность изображаемых панорам, которая характерна для любых моделей мировосприятия, в том числе разработанных и в литературе.

Так вот, структура видения мира художником-соцреалистом в целом проста: авторское местоположение ощутимо приподнято над пластами сюжетного материала и вынесено в направлении будущего. Причем будущего, отметим особо, заранее предрешенного, наделенного осязаемыми, и автору и потенциальному читателю одинаково известными, характеристиками. И именно уверенность в

неизбежности наступления этого будущего позволяет и при описании и при восприятии самых мрачных проявлений действительности не терять чувства пусть трагического, но оптимизма. Соответственно анализу становятся подвластны те стороны человеческой природы и те явления, даже простая фиксация которых ранее вносила в произведение мотив безысходной и «темной» натуралистичности.

В целом угадывается даже линия, что выводит на такую организацию хронотопа, словно набрасывающую на реальные панорамы завесу убежденности в неотвратимости именно светлого, пусть через столетия, финала. В начале 19-го столетия в Европе появился исторический роман, и уже тогда многим показалось, что стилистика, образность произведений исторических вскоре проникнет и в произведения о современных литератору событиях. Но не только внешние приметы историзма привлекли внимание, был замечен и эффект «предрешенной оптимистичности», который достигался благодаря восприятию трагедий прошлого сквозь призму отраженности всех жертв в результатах и свершениях сегодняшнего дня.

Попытка незамедлительно перенести в произведения о современности изображение тех проявлений «темного», которые легко давались роману историческому, привела, однако, опять же к беспросветной натуралистичности «снимков с натуры». Вспомним о последовавших вслед за увлечением историческим романом волнах «натуралистичности», они отмечались едва не во всех литературах Европы — и сразу вслед за этим, тоже едва не везде, следовал всплеск интереса к романам утопическим!

Вот она, пошаговость возведения использованной в поэтике соцреализма хронотопной конструкции, для этого были, как видим, свои внутрилитературные предпосылки. Насчет же ограниченности модели… Четкое обозначение параметров грядущего вынуждало вольно или невольно соотносить с этой вынесенной в сторону «будущего» наблюдательной позицией линии внутреннего развития персонажей. И после выхода на рубежи, от которых просматривались ясные приметы «исправления», перспективы тут становились предсказуемыми, догматически заданными. Соответственно у положительного героя изначально сужалось пространство для внутреннего развития (вот она, необоримая слабость положительного

героя, характерная для метода), а герой отрицательный лишь до тех пор был непредсказуем, пока не выводился на эти самые рубежи «непосредственного исправления». Отсюда приверженность авторов к открытым концовкам (после выхода на позиции, от которых ясно читалась линия дальнейшего развертывания, повествование нередко обрывали), отсюда некая повторность следующего, а тем более третьего или четвертого писательского прикосновения к ранее затронутым темам. Ибо правдоподобно разрешив проблемную ситуацию, убедительно соотнеся ее с параметрами заранее предрешенного будущего, талантливый литератор тем создавал схему, положения которой вынужденно повторял любой из авторов, бравшихся за анализ схожих жизненных явлений.

Тематическое поле «темного» постепенно перекрывалось, писателям становилось все труднее не повторяться, не пересмотрев при этом параметры «будущности». Ревизия же характеристик грядущего, по соображениям идеологическим, не приветствовалась, этим пространство для маневра сужалось еще более. Отсюда внутренняя ограниченность излишне жестко заданной хронотопной модели, эта ограниченность рано или поздно должна была себя проявить. Так что у кризиса имелись, как видим, и внутрилитературные причины, при анализе сегодняшних, посткризисных явлений это учесть необходимо.

Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская (Москва)

Многовековая история литературной культуры Подляшья и Белорусского Полесья: результаты тридцатилетних экспедиционных исследований (1970-е–2000-е гг.)*

Начиная с 1970-х гг. группа московских ученых ведет постоянные экспедиционные исследования богатейшей книжно-литературной культуры местного населения, преимущественно белорусского, проживающего на обширных территориях Подляшья, Западного и Восточного Полесья [1]. Это одна из самых интересных историко-географических частей Европы и, пожалуй, самая архаичная сегодня, а потому и наиболее притягательная для исследователей гуманитариев всех специальностей областей мировой Славии. Одновременно это многовековое пространство активного взаимодействия восточнославянских и западнославянских культур, прежде всего белорусской, польской, русской, украинской, а на самом севере Подляшья еще и литовской. Подляшско-Полесский регион — выдающееся по своему значению культурное пограничье, зримо выделяющееся в масштабах европейского континента. Континент этот спещрен тысячами реальных и виртуальных границ, имеющих различную природу, свойства, значение. К числу важнейших относятся границы этнокультурные, особенно те, что делят наш континент на главные цивилизационные составляющие — Восток и Запад, с давних пор весьма остро воспринимаемые и как особая геополитическая оппозиция. Восток Европы традиционно связывают с православием, Запад — с католицизмом и протестантизмом. В определенной степени данное обстоятельство повлияло и на номенклатурное деление славян, хотя некоторая часть славян восточных исповедует католицизм

и греко-католицизм, а небольшая часть западных славян — православие. Тем не менее контуры общей границы между западными и восточными славянами, особенно католиками и православными, исторически очерчены довольно точно, прежде всего в ее части, наиболее глубоко выдвинутой в сторону запада Европы — это рубеж бывшего Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского. Его пограничная межа с Королевством Польским. Земли эти исстари именовались Подляшьем, находящимся ныне в составе Польши. Предки современных белорусов проникли сюда довольно рано, а общая восточнославянская колонизация этих земель привела к тому, что здесь постепенно возникло несколько крупнейших православных культурных центров, среди которых в раннем средневековье особенно выделялся г. Дрогичин, а в позднем — Супрасльский Благовещенский монастырь, одна из главнейших древних книжниц славянской Европы, в которой сберегалась такая всемирно известная святыня славянства как Супрасльская рукопись XI в.

Уместно вспомнить, что недавно польские археологи открыли вблизи юго-западной границы Подляшья в Подеблоце загадочные таблички с фрагментами надписей (надписи), возможно свидетельствующих о проникновении сюда христианского «восточного обряда» уже в IX в., то есть за столетие до так называемого крещения Польши по латинскому обряду в 966 г. Находка в Подеблоце могла быть связанной с влиянием кирилло-мефодиевской миссии, одним из следов которой возможно является этот древнейший памятник письменности на территории современной Польши. Искони Подляшье было тесно связано с Волынью и Полесьем, прежде всего его западной частью, временами составлявшими с ним даже некое административное целое, не говоря уже о многовековом постоянном культурном единстве. Предки современных подляшских белорусов оставили им богатейшее культурное наследие, имеющее не только общеславянское, но и мировое значение. Одной из важнейших частей этого наследия является книжность и литература, многовековая жизнь которых связана практически со всеми уголками большой Европы, особенно с народами балканских государств, странами центра и востока континента, Прибалтики и, конечно же, с Россией, Украиной, Молдавией.

Ныне белорусская проблематика начинает все активнее изучаться в различных странах. Правда, если речь вести о литературном процессе, то исследования эти затрагивают почти исключительно ушедшее столетие, отчасти несколько десятилетий XIX-го. Времена более ранние представлены предельно избирательно — лишь на уровне единичных произведений, авторов. И только. Причин подобной избирательности множество, но главная из них — огромные сложности с источниковой базой. Проще говоря, незнание самих произведений этой литературы, их неизвестность, неоткрытость. Забвение это едва ли может быть оправдано, так как до сих пор сберегается огромное число западнобелорусских книжных и литературных памятников, начиная с древности, гордиться которыми могут не только белорусы, но и все восточные славяне, даже славянский мир в целом.

Наши первые опыты собирания подобных материалов были предприняты более тридцати лет и затем осуществлялись с большей или меньшей интенсивностью в продолжение всего последующего времени. К настоящему дню нам удалось собрать значительный архив копий всевозможных источников, позволяющий отвечать на множество вопросов исторической, культурной, литературной и иной гуманитарной тематики, связанной с этой частью Европы, взаимодействием ее главнейших культурных традиций начиная с эпохи Средневековья. В поле нашего внимания попали не только книжные и литературные памятники, но и иные весьма разнообразные свидетельства культурной жизни — практически весь возможный арсенал источников, классификационная характеристика которых порой является своего рода типологической новацией, ибо они никогда или почти никогда не привлекались исследователями. Например, многие палеотипические свидетельства.

Если речь вести о самих книжных и литературных памятниках, то в подлинниках, созданных в рассматриваемый период, они сохранились начиная с XV в. Местное литературное творчество становится особенно заметным со второй половины XV в., а затем оно приобретает весьма яркие черты, превращаясь в явление не только белорусского, но и восточноевропейского масштаба. Итогом нашей археографической и литературоведческой реконструкции стало от-

крытие огромного числа произведений множества видов и жанров на нескольких языках, которыми пользовались в своем труде местные белорусские литераторы и книжники. То, что нам удалось собрать и реконструировать - пожалуй одна из самых представительных источниковых баз европейской региональной книжно-литературной традиции за всю ее историю, ведя отсчет от древности. Для нас необычайно важен был также общий и частный книжно-литературный контекст этой традиции, с которыми она оказалась теснейшим образом связанной. Отсюда наш интерес к литературной и книжной культуре этих земель вообще. Огромный фактический материал часто позволял делать всевозможные обобщения, иногда в той или иной степени даже предпринимать на отдельных исследуемых участках попытки формализации, что в итоге давало право использовать для анализа различные квантитативные методы, нередко с применением специального компьютерного программирования, то есть компьютерный анализ различного уровня [2].

Новейшие информационные технологии и математические методы позволили сгруппировать часть накопленного нами материала таким образом, что он составил своего рода базы данных, «живущих», так сказать, своей особой жизнью, являющих в представленной подобным образом совокупности особые качества, параметры которых могут быть зримы лишь в случае использования нетрадиционных исследовательских техник. Попутно эти базы дают необычайно много для изучения истории тех или иных языков на этих землях, причем в случае последующего создания полнотекстовых баз, а тем более информационных систем (системы) позволят вести самый широкий лингвистический поиск в автоматическом режиме, не исключая и подготовку специальных словарей.

Особая тема нашего исследования — западнобелорусская литературная среда XV— начала XIX вв. Основываясь на наших изысканиях удается восстановить не только отдельные события и моменты в жизни данного литературного сообщества, но и почти в деталях проследить всю его судьбу за весь многовековой период.

Уже в XV столетии местные православные литераторы, преимущественно представители монашества, приходского белого духовенства, мещане и шляхта, теснейшим образом связанные между

собой этнокультурными и вероисповедными узами, закладывают прочные основы создания собственной книжно-литературной традиции, которая затем оказывается представленной произведениями нескольких собственных литературных школ и направлений. Иерархия тамошнего литературного сообщества все более усложняется, что особенно заметным становится во второй половине XVI-го — XVII-м вв. Близость к западному миру, к католичеству довольно рано поставила перед здешними православными многие принципиальные вопросы, ответ на которые практически всегда предполагал и некую, поначалу не слишком явную констатацию своей национальной особенности. Постепенно формировалось то, что в XIX в. уже можно будет назвать белорусским национальным движением, истоки которого находятся в том числе и здесь [3].

По сравнению с другими белорусскими литературными областями, да и вообще восточнославянскими, литература белорусов Подляшья XV–XX вв. предстает перед нами в качестве литературы пограничной, которой свойственна особая острота и полемическая заостренность. Литература эта многофункциональна, полифонична и многоязычна. Ее произведения создавались на церковнославянском, старобелорусском, польском, латинском, русском и других языках и их вариантах. Ее авторы очень рано обращаются к идеям, которые вероятно можно было бы назвать протонациональными. Первым в подобном списке со всей определенностью может быть поставлено имя выходца из старинного рода мещан города Бельска, первого настоятеля Супрасльского Благовещенского монастыря — замечательного книжника и писателя о. Пафнутия Сегеня. Без сомнения самым значительным его последователем в первой половине — середине XVI в. и непосредственным преемником стал о. Сергий Кимбар, литературное наследие которого не только во многом меняет наше представление о путях развития старобелорусской письменности, но и восточнославянской в целом.

Об особом богатстве и разнообразии литературы белорусов Подляшья XV-XX вв. свидетельствуют уже сами перечневые списки ее произведений, насчитывающие многие тысячи больших и малых сочинений различных прозаических и стихотворных жанров. При этом нами учтены имена нескольких сотен их авторов, пред-

ставляющих все без исключения социальные группы тогдашнего населения Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского. В истории белорусской культуры это была самая масштабная и последовательная литературная традиция, никогда не прерывавшаяся в своем развитии и выпестовавшая в конце концов то, что мы называем теперь славянским национальным возрождением XIX в. и белорусским национальным возрождением [4].

Непосредственный многовековой прямой контакт с Западом и его культурой способствовал появлению особого колорита во всех явлениях и событиях местной литературной жизни, обогащению славянского мира и белорусского литературного пространства множеством различных переводов с ряда европейских языков, а также многочисленными переделками западноевропейских произведений. Здесь же всегда было заметно и присутствие иных литературных культур, прежде всего иудейской и отчасти мусульманской. Весьма своеобразное влияние временами исходило и со стороны балтского язычества. Все это видно на значительном числе примеров, что пока специально нами не изучалось.

Литература белорусов Подляшья XV-XX вв. всегда оставалась особым, временами достаточно замкнутым, полилингвистичным монолитом, формировавшимся усилиями многих поколений, самых разнообразных авторов, поддерживавших широчайшие связи с различными частями Европы, не исключая и окраины континента, такие как болгарские или сербские Балканы и равнины Московии. Постепенно в здешнем литературном сообществе сформировалось несколько больших и малых литературных школ, возникли различные литературные центры, отдельные из которых оказали влияние не только на развитие белорусской культуры, но и украинской, польской, русской.

В силу различных причин наши подляшские экспедиционные исследования оказались несколько масштабнее полесских, несмотря на то, что с Белорусским Полесьем мы связаны кровно, а один из нас даже коренной уроженец восточной его части. Последнее обстоятельство в значительной мере позволяет интенсифицировать в последние годы нашу экспедиционную практику, связанную уже в основном со сбором материалов, характеризующих развитие и

взаимодействие культур белорусского, русского и украинского народов. Наши экспедиции, проходящие в этих местах, нацелены преимущественно на сбор произведений народной книжно-литературной культуры, характеризующих прошлое и настоящее белорусского, русского и украинского православных этносов, с целью создания масштабной источниковой базы для проведения фундаментальных исследований и сохранения одной из богатейших частей восточнославянского культурного наследия, до сих пор малоизученной. Собранные в ходе экспедиций материалы, преимущественно разнообразные по своему техническому исполнению копии сотен самых различных памятников народной письменности белорусско-российско-украинского пограничья, создают основу источниковой базы для проведения широкого комплекса теоретических исследований прошлого и настоящего народной литературной культуры белорусов, русских и украинцев. Эти материалы свидетельствуют о существовании общей восточнославянской культурной традиции в зоне многовекового взаимодействия всех трёх этносов; позволяют проследить развитие белорусской, русской и украинской народных литератур на крайних рубежах их географического схождения. Многообразие и многочисленность собранных текстов (от произведений древности до оригинальных сочинений, созданных в наши дни) подтверждают не только наличие достаточно полнокровной жизни народных литератур на этих территориях вплоть до современности, но и их дальнейшее успешное развитие и распространение, в том числе с использованием новейших средств коммуникации, включая электронно-сетевые [5].

В качестве примера необычайного разнообразия текстов, бытующих в белорусской народной среде, мы хотим привести небольшие фрагменты, касающиеся такого весьма сложного и пока еще малоизученного процесса как «белорусизация» 1920-х гг., оказавшего серьезное влияние на все стороны национальной жизни белорусов и других народов Белоруссии, в том числе и их словесность.

* *

*

«Самай актуальнай задачай Камуністычнай Партыі і Савецкай Ўлады у галіне нацыянальнай палітыкі ў БССР зьяўляецца пытаньне аб беларусізацыі.

Пад беларусізацыяй ў шырокім сэнсе гэтага слова належыць разумець:

1). разьвіцьцё беларускай культуры (школы, вышэйшыя навучальныія ўстановы на беларускай мове, беларуская літаратура, выданьне беларускіх кнігаў, навукова–дасьледчая праца па ўсебаковаму вывучэньню Беларусі і г.д.);

2). вылучэньне беларусаў на партыйную, савецкую, прафэсыянальную і грамадзкую працу;

3). пераход працы партыйнага, дзяржаўнага, прафэсыянальнага, каапэрацыйнага апаратаў і часьцей Чырвонай Арміі на беларускую мову.

У рэзалюцыі Пленуму ЦК КП(б)Б (студзень 1925 г.) па пытаньні «Чарговыя задачы КП(б)Б у нацыянальнай палітыцы» так і зазначана: «Асноўным пытаньнем беларусізацыі зьяўляецца пытаньне аб беларускай мове». Пралетарыят Беларусі без ведаў беларускай мовы у кіраваньні большасьцю насельніцтва БССР — сялянствам і ў набліжэньні да яго апарату Савецкай Ўлады — адчуваў бы значаныя труднасьці. Пагэтаму XII Ўсебеларуская партыйная канфэрэнцыя (сакавік 1923 г.) у сваёй рэзалюцыі па нацыянальным пытаньні пастанавіла: «Камуністычная Партыя ў поўнай згодзе з сваёй праграмай, ў галіне нацыянальнага пытаньня павінна зрабіць усе захады да наладжваньня працы на беларускай мове, ўтвараючы нармальныя ўмовы для разьвіцьця беларускай культуры».

Усебеларускі Зьезд Саветаў (снежань 1920 г.), а потым 2–я Сэсія ЦБК БССР (люты 1921 г.), пастанавілі зрабіць усе захады да ўзмацненьня працы на мове пераважнай большасьці працоўнага сялянства Беларусі — на мове беларускай; перавесьці паступова ўсе навучальныя ўстановы, дзе вучацца дзеці–беларусы, на іх матчыную (беларускую) мову выкладаньня; разьвіць узмацнёную працу па падрыхтоўцы настаўнікаў, якія б маглі выкладаць на беларускай мове; адчыніць у Менску і ў іншых гарадах шэраг беларускіх курсаў па перападрыхтоўцы настаўнікаў і педагагічныя

ўстановы, якія б рыхтавалі для школ настаўнікаў. Згодна гэтым пастановам у школах, дзе вучацца дзеці–беларусы, выкладаньне ўсіх прадметаў павінна была быць пераведзена на беларускую мову. Ва ўсіх навучальных установах, незалежна ад мовы выкладаньня ў іх, уводзілася абавязковае выкладаньне беларускай мовы, як асобнага прадмету. Выданьне падручнікаў, навукова–папулярнай і палітычнай літаратуры на беларускай мове было прызнана ўдарнай задачай. Былі асыгнаваны сродкі на выдачу прэмій ўкладчыкам лепшых падручнікаў на беларускай мове. Для павялічаньня колькасьці школьных працаўнікоў–беларусаў былі зроблены захады дзеля адкамандыраваньня гэтых працаўнікоў з тых установаў, дзе гэтыя працаўнікі выкарыстоўваліcь не па сваёй спэцыяльнасьці. Было ўзбуджана хадайнічаньне перад Рэвваенсаветам Рэспублікі аб адкамандыраваньні настаўнікаў–ураджэнцаў Беларусі з шэрагаў Чырвонай Арміі. Наркамасьветы Беларусі схадайнічаў перад Наркамасьветы РСФСР распараджэньне аб адкамандыраваньні ў Беларусь усіх настаўнікаў–ураджэнцаў Беларусі. Былі асыгнаваны сродкі на выдачу падёмных культурным працаўнікам, якія варочваліся ў Беларусь. Былі зроблены захады да ўтварэньня ў Менску Дзяржаўнага Беларускага Ўнівэрсітэту. ЦВК Беларусі зьвярнуўся да вучоных, літаратараў, настаўнікаў і да ўсіх культурных працаўнікоў–ураджэнцаў Беларусі, з спецыяльнай адозвай, ў якой ад імя працоўных Беларусі заклікаў гэтых культурных працаўнікоў прыняць удзел у культурным будаўніцтве Савецкай Беларусі.

Дзеля ўзмацненьня ўплыву Кампартыі па масы і замацаваньня саюзу рабочых з сялянствам, Пленум ЦК КП(б)Б вынес пастанову: «Уся КП(б)Б павінна гаварыць на беларускай мове».

<…>

Вышэйшай Навукова–дасьледчай ўстановай, якая аб'яднае ўсю навукова–дасьледчую працу ў БССР зьяўляецца Інстытут Беларускай Культуры.

Перад Кастрычнікавай рэвалюцыяй ў Беларусі ня было ні вышэйшых навучальных установаў, ні навукова–дасьледчых. Інстытут Беларускай Культуры зьяўляецца дзіцём пралетарскай Рэвалюцыі ў Беларусі.

Адначасова з пытаньнем аб арганізацыі ў Менску Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту пастаўлена было пытаньне і аб арганізацыі Інстытуту Беларускай Культуры. Яшчэ ў лютым 1921 г. гэтае пытаньне абгаворвалася на 2-ой Сэсіі ЦВК БССР. У стэнаграме дакладу Наркамасьветы на гэтай сэсіі гаворыцца аб неабходнасьці ўтварэньня пры Беларускім Унівэрсытэце двух інстытутаў: беларускай і яўрэйскай культуры. Аднак адсутнасьць высокакваліфакаваных працаўнікоў па беларусазнаўству ў Беларусі і недахоп неабходнага абсталяваньня змусілі часова адмовіцца ад мыслі ўтварэньня гэтых інстытутаў.

Аднак настойная патрэба ў беларускай тэрміналёгіі, у беларускіх падручніках, палітыка–літаратурных і іншых часопісах. З ўсёй рашучасьцю высоўваліі пытаньне аб утварэньні пры Наркамасьвеце Навукова–Дасьледчай ўстановы, якая з часам павінна была разгарнуцца ў Інстытут Беларускай Культуры.

Такім зародышам Інстытуту Беларускай Культуры зьявілась утвораная ў 1921 годзе пры Акадэмічным Цэнтры Наркамасьветы Навукова-тэрміналагічная Камісія з трома сэкцьямі: гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай. У заданьне Навукова–тэрміналагічнай Камісіі зпачатку ўваходзіла распрацоўка і выданьне ў спешным парадку навуковай тэрміналогіі хоць бы для пачатковых і сярэдніх беларускіх школ. З гэтай задачай Навукова–тэрміналагічная Камісія справілась пасьпяхова. Да 1922 году была выдана навуковая беларуская тэрміналогіія па галінам гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай.

У 1922 годзе Навукова-тэрміналагічная Камісія, якая шырока разгарнула сваю працу, была рэарганізавана ў Інстьтут Беларускай Культуры з двома сэкцыямі: гуманітарнай і прыродазнаўчай. Гэтыя сэкцыі ў свой чарод падзяліліс на шэраг навукова–дасьледчых камісій (літаратурная, па укладаньню слоўніка, тэрміналагічная і інш.).

У выніку спэцыялынай адозвы Інстытута Беларускай Культуры да працоўных масаў і інтэлігэнцыі, каб яны прынялі пасільны ўдзел ў выяўленьні асаблівасьцяй Беларусі да гэтага часу амаль не кранутай дасьледчай працай, хутка вырасла густая сетка краязнаўчых арганізацый, у якія ўвайшло шмат рабочых і сялян, пераважна сельская інтэлігенцыя, а таксама і вучнёўская моладзь.

Пры Інстытуце Беларускай Культуры было утворана Цэнтральнае Бюро Краязнаўства, якоя пачало выдаваць дзеля асьвятленьня краязнаўчай працы журнал «Наш край».

Праз гэтае бюро была ўстаноўлена самая шчыльная сувязь з працоўнымі масамі Беларусі. У сучасны момант у краязнаўчыя арганізацыі Беларусі ўваходзяць 9000 членаў. Дасьледчыя матэрыялы, якія зьбіраюцца гэтымі арганізацыямі, паступаюць ў Інстытут Беларускай Культуры для навуковай апрацоўкі.

З 1924 году навукова–дасьледчая праца Інстытуту Беларускай Культуры шырока разгарнулася і абхапіла шэраг галін будаўніцтва Савецкай Беларусі. У працу Інстытута Беларускай Культуры былі ўцягнуты сотні навуковых партыйных і савецкіх кіруючых работнікаў.

У гэтым жа 1924 годзе Савет Народных Камісараў БССР зацьвердзіў статут Інстытуту Беларускай Культуры. Паводле гэтага статуту ў задачы Інстытуту Беларускай Культуры ўваходзіць планавае дасьледаваньне Беларусі і аб'яднаньне працы ў галіне мовы, літаратуры, этнографіі, гісторыі, прыроды, экономікі, сацыяльна–грамадзскага руху і інш. У 1920 годзе ЦВК і СНК БССР, надаючы асаблівую важнасьць працы Інстытуту Беларускай Культуры і прымаючы пад увагу, што круг дзейнасьці Інбелкульту і ўплыў яго на шырокія масы насельніцтва ўсё пашыраецца, пастанавіў рэарганізаваць Інстытут Беларускай Культуры ў самастойную ўстанову, падпарадкаваную непасрэдна Савету Народных Камісараў. <…>

У склад Інстытуту Беларускай Культуры ў 1926–27 акадэмічным годзе ўваходзіла 7 навуковых сэкцый і 8 сталых камісій, якія аб'яднал і ў сучасны момант два вялікіх аддзелы: Гуманітарны аддзел і Аддзел Прыроды, якія падзяляюцца на камісіі.

1. Слоўнікавая Камісія назьбірала пры дапамозе краязнаўчых арганізацый і прыватных асоб звыш 300000 слоў жывой беларускай мовы; падрыхтоўвае да выданьня вялікі акадэмічны слоўнік беларускай мовы; выдала абласны беларускі слоўнік Віцебшчыны і падрыхтавала да друку гэтакі ж слоўнік Калінінпічыны і Чэрвеншчыны.

2. Галоўная Тэрміналагічная Камісія выдала навуковую беларускую тэрміналогію па наступным дысцыплінам: матэматыцы, геаграфіі, хіміі, анатоміі, мастацтву, грамадазнаўству, праву, сельскай і лясной гаспадаркі.

3. Літаратурная Камісія падрыхтавала да акадэмічнага выданьня поўны збор твораў некаторых беларускіх пісьменьнікаў і паэтаў. Ужо вышаў з друку 1 том твораў М. Багдановіча.

4. Фальклорна–Дыялекталагічная камісія вывучае беларускія народныя гутаркі і народную творчасьць. Камісіяй гэтай падрыхтавана да выданьня некалькі тамоў фольклорнага матэрыялу.

5. Сацыяльна–Гістарычная Секцыя у 1925 годзе да 400 годзьдзя беларускага друку выдала гістарычныя дасьледы па гэтаму пытаньню, потым выдала зборнік «Беларускі Архіў» т. I, «Гісторыка–Археалагічны зборнік» і шэраг іншых выданьняў па гісторыі і археалогіі Беларусі.

6. Камісія па ахове помнікаў .старыны ўзяла на вучот гэтыя помнікі ў Беларусі і робіць навуковае апісаньне іх; гэтая камісія арганізавала шэраг запаведнікаў.

7. Этнаграфічная Камісія правяла некалькі экспедыцыяў па Беларусі, якія назьбіралі каштоўныя матэрыялы і калекцыі, а таксама дадаткова абсьледвалі этнаграфічныя межы расьсяленьня беларусаў.

8. Сэкцыя мастацтва, у склад якой уваходзяць камісіі: тэатральная, музычная і камісія вобразных мастацтваў, была занята апрацоўкай рэпертуару для Беларускага Тэатру, заснавала беларускі тэатральны музэй, вядзе запіс народных песьняў і дае ім інструментальную апрацоўку (апрацавана звыш 500 песняў і мелодый).

9. Прыродазнаўчая секцыя праз спэцыяльныя падсекцыі і камісіі робіць досьледы аргаінічнай і неарганіч.най прыроды Беларусі. Праведзеныя сэкцыяй за апошнія 3–4 гады навуковыя экпедыцыі далі магчымасць прыступіць да укладаньня геабатанічнай, геалагічнай і глебавай картаў Беларусі, выявілі шэраг залежаў камяннага вугля, крэйды, гліны розных сартоў, пяску, фасфарытаў і інш. З матэрыялаў, якія накапіліся пры досьледах флоры і фауны Беларусі, а таксама матэрыялаў геалагічных

доследаў, арганізаваны багаты музэй прыроды Беларусі ў складзе 3 аддзелаў: заалагічнага, батанічнага і глебавага.

Метэаралагічнае Бюро сэкцыі, якое мае сетку метэаралагічных станцый на Беларусі, вывучае клімат Беларусі.

10. Камісія па вывучэньню натуральна–вытворчых сіл БССР вядзе плянавыя досьледы прыроды Беларусі з мэтай навуковага абслугоўваньня разьвіваючайся прамысловасьці і сельскай гаспадаркі Рэспублікі.

11. Мэдычная сэкцыя робіць досьледы спецыфічных хваробаў Беларусі (калтун, зоб, бытавы сіфіліс (пранцы) і інш.), вывучае санітарнае становішча беларускай вёскі і інш.

12. Антропалягічная Камісія вядзе дасьледчую працу і выяўляе анропалягічныя асаблівасьці беларускага насельніцтва.

13. Геаграфічная камісія на падставе матарыялаў, якія зьбіраюцца ёю і краязваўчымі арганізацыямі, падрыхтоўвае поўнае геаграфічнае апісаньне Беларусі.

14. Сельска–гаспадарчая сэкцыя да хвілі арганізацыі ў Беларусі Навукова-Дасьледчага Інстытуту імя Леніна, вяла навуковыя досьледы ў галіне сельскай і лясной гаспадаркі Беларусі.

15. Бібліографічная камісія ўкладае бібліяграфіі па ўсім галінам беларусазнаўства.

16. Вайсковая камісія падрыхтавала і выдала на беларускай мове вайсковыя статуты, беларускі вайсковы слоўнік, беларускія песьні для Чырвонай арміі і шэраг беларускіх падручнікаў і хрэстаматый для каманднага і чырвонармейскага складу.

17. Камісія да вывучэньню Заходняй Беларусі занята зьбіраньнем і навуковым вывучэньнем матэрыялаў сацыяльна-эканамічнага, бытавога і наогул культурнага жыцьця насельніцтва (пераважна беларускага) ў Заходняй Беларусі. Падрыхтавана да друку вялікая праца па дасьледваньню эканамічнага становішча Заходняй Беларуси Праца гэта хутка выйдзе ў сьвет.

У склад Інстытута Беларускай Культуры ўваходзяць 2 нацыянальныя аддзелы: яўрэйскі і польскі; апрач таго у надыходзячым бюджетным годзе адчыняюцца аддзелы: Літоўскі і Латышскі. Гэтыя нацыянальныя .аддзелы будуць весьці навуковыя досьледы мовы, гісторыі, энаграфіі і наогул нацыянальнай культуры

яўрэйскага, польскага, літоўскага і латшыскага насельніцтва Беларуси. Інстытут Беларускай Культуры мае свой філіал пры Беларускай Сельска–Гаспадарчай Акадэміі ў Горках «Навуковае Таварыства па вывучэньню Беларусі». Таварыствам гэтым выдана ўжо тры томы навуковых прац ў галіне вывучэньня сельскай і лясной гаспадаркі і мэліярацыі БССР.

Пры Інстытуце Беларускай Культуры знаходзіца Навуковая Арганізацыя Працы (НАП) з псіхатэхнічнай лабараторыяй; ёсьць бібліатэка, якая налічвае каля 40000 рэдкіх спэцыяльных кнігаў, Музей Прыроды, Акліматызацыйны сад ў Віцебскай акрузе, хімічная лабараторыя і абсталяваная спэцыяльнымі шрыфтам друкарня. Падчас свайго 5–гадовага існаваньня Інстытут Беларускай Культуры выдаў да 70 томаў навуковых прац, якія датычаць усіх бакоў жыцыця Савецкай Беларусь Ужо адзін пералік установаў Інстытуту Беларускай Культуры і кароткая характерыстыка іх дзейнасьці сьведчыць аб той каласальнай працы акадэмтчнага тыпу, якую праводзіць Інстытут Беларускай Культуры па адраджэньню і разьвіцьцю нацыянальных культур насельніцтва Беларусі.

Апроч гэтага Інстытут Беларускай Культуры ўстанавіў цесную сувязь і ўзаемны абмен кнігамі з усімі Акадэміямі Навук і іншымі навуковымі ўстановамі (унівэрсытэтамі, інстытутамі, бібліятэкамі, музэямі), як ў СССР, так і ў Эўропе і Амерыцы. Колькасьць гэтых навуковых ўстаноў, з якімі зьвязаны Інстытут Беларускай Культуры, дасягае ў сучасны момант да 750. Інстытут Беларускай Культуры прымае ўдзел у навуковых канфэрэнцыях і зьездах у СССР і за граніцай (Нямеччына, Амэрыка, Польшча і іншыя краіны) і склікае свае канфэрэнцыі і зьезды (Канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і альфабэту, канфэрэнцыя архэолагаў, краязнаўцаў і інш.) ў якіх прымаюць удззел. вучоныя спецыялісты СССР і Эўроіпы (Нямеччыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Чэха–Славакіі і інш.).

Разгорнутая ў сучасны .момант Інстытутам Беларускай Культуры Навукава–Дасьледчая праца ва ўсіх галінах жыцьця Савецкай Беларусі высунула перад Кампартыяй і Савецкай Ўладай пытаньне аб рэарганізацыі Інстытуту Беларускай Культуры ў Беларускую

Акадэмію Навук. Пытаньне аб такой рэарганізацыі высунута было ўпяршыню ў сярэдзіне 1926 году. У рэзалюцыі на дакладу Ураду Беларусі 4–га чэрвеня 1926 г. у Прэзыдыуме ЦВК СССР, Саюзны ЦВК пастанавіў:

«Прымаючы пад увагу труднасьці нацыянальнага пытаньня ў Беларусі, якія ўзнікаюць дзякуючы рознастайнаму складу яе насельніцтва, Прэзыдыум ЦВК Саюзу адзначае, што Беларускі Ўрад здолеў правильна вырашыць у асноўным важнейшыя пытаньні нацыянальнай палітыкі, аддаючы надежную ўвагу пытаньням беларускай культуры, забяспечыўшы яе далейшаё разьвіцьцё. Пры гэтым Прэзыдыум ЦВК Саюзу асабліва адзначае вялікае значэньне дзеля гэтай мэты Інстытут Беларускай Культуры, які ў сваёй далейшай працы павінен ператварыцца ў Беларускую Акадэмію Навук».

10–га ліпеня 1926 г. па дакладу Інстытуту Беларускай Культуры Совнарком Беларусі вынес наступную пастанову: «Адзначыць узмацненьне ўплыву Інстытуту Беларускай Культуры на ўсю навуковую і дасьледчую працу ў Рэспубліцы і разам з тым лічыць неабходным з 1926–27 акадэмічнага. году надаць Інстытуту Беларускай Культуры напрамак у бок паступовага ператварэньня яго ў Беларускую Акадэмію Навук».

21 ліпеня 1927 г. Савет Народных Ка;місараў зацьвердзіў новы статут Інстытуту Беларускай Культуры, які зьяўляецца аналагічным статуту Усесаюзнай і Украінскай Акадэміям Навук. Згодна апошняму статуту Інстытут Беларускай Культуры зьяўляецца вышэйшай дзяржаўнай ўстановай ў БССР і падпарадкаваны непасрэдна СНК БССР.

У § 2 статуту гаворыцца: «Інстытут Беларускай Культуры мае наступныя задачы:

а). распаўсюджваньне і ўтачненьне навуковых дысцыплін, якія ўваходзяць ў яго кампэтэнцыю, узбагачаючы іх новыми адкрыцьцямі і метадамі досьледаў;

б). плянавае дасьледваньне Беларусі з боку яе прыродных вытворчых сілаў, вывучэньне і садзейнічаньне іх выкарыстоўваньню, вывучэньне народнай гаспадаркі, права, грамадзянскага руху, мовы, літаратуры, гіісторыі, этнаграфіі і інш.

в). аб'яднаньне ў гэтых галінах ўсей навуковай працы, якая вядзецца навуковымі ўстановамі БССР і асобнымі вучонымі;

г). прыстасаваньне навуковых тэорый і вынікаў навуковых доследаў да практычнага ўжываньня ў прамысловым і культурна–эканамічным будаўніцтве БССР».

І так, дзякуючы кіраўніцтву Кампартыі і Савецкай ўлады ў галіне нацпалітыкі, працоўныя Беларусі у галіне культурнага будаўніцтва дасягнулі таго, чаго яны не маглі дасягнуць на працяігу стагодзьдзяў свайго гістарычнага існаваньня.

Апроч некалькіх тысяч пачатковых, сяірэдніх, а таксама і вышэйшых школаў на роднай беларускай маве, працоўныя масы Беларусі маюць Інстытут Беларускай Культуры, які знаходзіцца напярэдадні ператварэньня яго ў Беларускую Акадэмію Навук і зьяўляецца вышэйшай навукова–даследчай ўстановай. <…>

Нашыя дасягнены ў справе беларусізацыі, ня гледзячы на існуючыя ў гэтай працы недахопы, не магла не зьвярнуць на сябе ўвагу працоўных за кардонам. Калі працоўныя ўсіх краін і народаў з глыбокім інтарэсам, увагаю і спачуваньнем сачаць за нашай працай — будаўніцтвам сацыялізму, то ўвага да нашай культурнай працы працоўных Заходняй Беларусі, якая хоць і адмяжавана ад БССР дзяржаўнай Савёцка–польскай мяжой, але зьяўляецца такой жа этнаграфічнай часткай Беларусі, як і БССР, зьяўляецца зусім зразумелай.

Польская буржуазия з усіх сіл старалась і стараецца выставіць усе нашыя дасягненьні ў галіне культурнага будаўніцтва, у тым ліку і беларусізацыю, ў ілжывьм асьвятленні, маючы на мэце зьменьшыць, затушаваць перад працоўнымі масамі Заходняй Беларусі важнасьць і вялічыню нашых дасягненьняў ў культурным будаўніцтве.

Аднак нават варожая нам прэса, як беларуская згодніцка–полонофільская, альбо шавіністычная, так і польскаія рэакцыйная, бываюць змушаны сказаць аб нашай культурнай працы ў БССР тое, чаго ім вельмі не хацелася б прызнаваць.

Возьмем, напрыклад, віленскую газэту «Kurjer Wileński» якая зьяўляецца органам паўафіцыйным і стаіць, безумоўна, па над

усялякімі падазрэньнямі адносна якой небудзь «сымпатыі» да дыктатуры пралетарыяту.

У адным з нумароў гэтай газэты за кастрычнік 1926 году, у артыкуле, прысвечаным абгаварэньню палітычнага становішча ў Заходняй Беларусі, робіцца параўнаньне з становішчам у БССР.

Аўтар артыкулу з пачатку абвінавачвае Савецкую ўладу ў прыгнечаньні буржуазіі, але ўсё ж змушаны ў рэшце рэштаў прызнаць і культурныя дасягненьні у БССР.

У артыкуле гаворыцца, што «Савецкая Ўлада арганізавала Беларускі Унівэрсытэт, арганізавала Інстытут Беларускай Культуры, заснавала некалькі спецыяльных школ і цэлую сетку нізшых школ. Шэраг даўнішніх палітычных ворагаў камунізму знаходзяць сёньня застасаваньне для сваіх сілаў на тэрыторыі Савецкай Беларусі. Нават такі дзеяч як Смоліч, які ў свой час арганізоўваў беларускія легіёны на польскім баку, займае цяпер кіруючую пасаду ў галіне творчай культурнай працы. Трэба прызнаць, што палітыка Савецкай Ўлады значна больш разумнейшая чым палітыка Польшчы».

Гэтая вымушаная характарыстыка нашага культурнага будаўніцтва ў процілегласьць таму становішчу, якое існуе ў Заходняй Беларусі, якая знаходзіцца пад ўладаю Польшчы, зьяўляецца вельмі паказальнай, калі прыняць над увагу, што гэтая характерыстыка адбівае настрой нават некаторых буржуазных колаў пануючай польскай нацыі.

Зьвернемся цяпер да заяў варожых нам беларускіх дзеячоў, як, напрыклад, лідара беларускай згодніцкай партыі «Сялянскі Саюз», дэпутата Сойму, Ярэміча, альбо кіраўніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, дэпутата Сойму, ксяндза А. Станкевіча. Гэтыя беларускія лідэры дробнабуржуазнага лягэру таксама ня могуць не прызнаць нашых дасягненьняў у культурным будаўніцтве, у прыватнасьці, ў беларусізацыі.

У артыкуле аб Беларусі, які зьмешчаны у журнале «Natio» (№ 1–2.1927 г.), што выходзіць у Варшаве і аб'ядНае т. з. дэмакратычную частку ўсіх нацыянальных меншасьцяў ў Польшчы, дэпутат Ярэміч гаворыць:

«Пачатковыя сярэднія і вышэйшыя школы ў Савецкай Беларусі ў большай частцы беларусізаваны. Там разьвіваецца беларуская навука і мастацтва».

Гэтае становішча у БССР Ярэміч далей роўнуе з становішчам ў Польшчы, дзе беларусы ня маюць ні воднай беларускай пачатковай ўрадавай школы, не гаворачы ўжо аб школах больш павышанага тыпу.

Беларускі дэпутат ў Сойме, ксендз А. Станкевіч, бясспрэчны і бэзапеляцыйны вораг дыктатуры пралетарыяту, вось як характарызаваў нашыя культурный дасягненьні ў сваёй прамове ў Сойме, вытрымкі з якой зьмешчаны ў Віленскай беларускай газэце — органе беларускай хрысьціянскай дэмакратыі «Беларуская Крыніца» (нумар ад 21/X.1926 г.):

«Хоць я за шмат чаго не хвалю Савецкай палітыкі, адношуся да яе крытычна, аднак я павінен прызнаць з некаторай прасьцярожнасьцю, што на культурнай народнай беларускай ніве там дасягнулі вялікіх посьпехаў. Гавару гэта, каб Вас тут ацьвярозіць. Факт застаецца фактам, што там жыцьцё беларуската народу скранута з месца, што беларускія школы ў Савецкай Беларусі налічваюцца тысячами Я магу Вам паказаць цэлыя горбы савецкіх беларускіх выданьняў.

Вы можаце самі, нарэшце, зьездзіць туды і паглядзець, альбо запытацца ў тых, якія ездзілі. Наогул я дзіўлюся таму, што Вы ня хочаце чорпая пазпаць чорным, а белая — белым».

У беларускай Віленскай газэце «Наша Справа», органе радыкальнай беларускай партыі «Беларуская Сял.–Раб. Грамада» ва ўступным артыкуле над загалоўкам «На разьвітаньне», побач з характарыстыкай прыгону і ўціску рабочых і сялян ў Заходняй Беларусі польскім ўрадам, аб Савецкай Беларусі гаворыцца вось што:

«А далей на ўсход за гранічным кардонам, там дзе існуе ўжо ўлада рабочых і сялян, беларуская культурная творчая праца ажно кіпіць! Звыш 4000 пачатковых беларускіх школаў, некалькі дзесяткаў сярэдніх (тэхнікумаў) дапоўніліся сёлета ўжо чацьвёртай беларускай вышэйшай школай — Сельска–Гаспадарчай Акадэміяіі ў Горы–Горках.

Адчыніўся сьледам за Менскам другі Дзяржаўны Беларускі тэатр ў Віцебску. Вышлі сотні новых беларускіх кніжак. Інстытут Беларускай Культуры робіць паважныя крокі ў кірунку ператварэньня ў Беларускую Акадэмію навук. А навуковы зьезд, які аб'яднаў у Менску прадстаўнікйў усіх беларускіх кірункаў з усіх краін, дзе жывуць беларусы (апрача Заходняй Беларусі з прычыны перашкоды з боку польскага ўраду), паказаў якія вялікія крокі ў будаваньні роднай культуры зроблены беларускім народам».

З паданых вытрымак з закардоннай беларускай і нават польскай прэсы мы бачым, што нашае культурнае будаўніцтва, а ў асаблівасьці беларусізацыя, знайшлі ў Заходняй Беларусі вельмі моцны водгук.

Ня толькі варожыя нам беларускія палітычныя групоўкі полонафільскага або шовіністычнага напрамку, але нават польская буржуазная грамадзкасьць змушана прызнаць, наперакор, бязумоўна, свайму жаданьню, нашыя посьпехі, бо факты гавораць аб сябе і ніякая крытыка ня здолее іх зьнішчыць. Праўда, станоўчая ацэнка нашых дасягненьняў у культурным будаўніцтве гэтымі буржуазнымі польскімі, а таксама «жоўтымі» беларускімі групоўкамі, якія адбіваюць думку вельмі незначнай часткі беларускай інтэлігенцыі, робіцца заўсёды з шматлікімі агаворкамі.

Гэтыя агаворкі зьяўляюцца шэрагам штучных, падтасаваных, т. з. пабочных акалічнасьцяў, якія быццам павінны зганьбіць дасягнутыя намі станоўчыя вынікі ў нашай культурнай працы.

Радыкальная частка беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі, г. з. рабочыя і сялянскія масы ацэніваюць нашыя дасягненьні на культурным фронце без ўсялякіх хітрыкаў, а так як ёсьць ў рэчаістасьці, уносячы ў гэтую ацэнку толькі горкасьць свядомасьці, што ня ўсе беларусы маюць гэтыя дасягненьні і могуць імі карыстацца».

Литература

1. См., напр.: *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Белорусско–украинско–русская православная книжность межвоенной Польши: Исследования и публикации по материалам экспедиции 1996 г. М., 1999; *Они же.* Православная литература белорусов современной Польши: Материалы экспедиционных исследований 1999 г. М., 2000; Они же. Православная литература Польши (1918–1939 гг.). Минск, 2001; *Они же.* Книга как универсальный маркер социокультурной истории внутриевропейского этнического пограничья // Научная книга. 2003. № 3–4(21–22). С. 93–98; *Лабынцев Ю.А.* Белорусское литературное многоязычие эпохи позднего барокко: Творчество протоархимандрита Иосифа Петкевича // Скарына і наш час. Гомель, 2004. С. 134–137; *Он же.* Белорусский церковнославянский печатный текст эпохи позднего барокко: «Житие Св. Онуфрия Великого» 1696 г. // Федоровские чтения 2005. М., 2005. С. 387–402 и другие.
2. См., напр.: *Щавинская Л.Л.* Квантитативная характеристика литературного ландшафта западной пограничной части Великого княжества Литовского середины XVI в. // Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века. Вильнюс–Москва, 1999. С. 130–144; *Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А.* Западноевропейская Библия и белорусском культурном пространстве периода романтизма: Квантитативная характеристика некоторых сторон коммуникационного процесса на пограничье Запада и Востока Европы // Новые информационные ресурсы и технологии в исторических исследованиях и образовании. М., 2000. С. 207–208; *Szczawińska Ł.* Habent sua fata manuscrypta: Pierwsze lata klasztoru supraskiego // Studia Polonica. M., 2002. С. 145–150; *Щавинская Л.Л.* Славянская книжная культура западного пограничья Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского XV–XVIII вв. (Клиометрический анализ документальных источников) // Федоровские чтения 2005. М., 2005. С. 464–478 и другие.
3. См., напр.: *Щавинская Л.Л.* Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв. Минск, 1998; *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Литература белорусов Польши (XV–XIX вв.). Минск, 2003; *Labyncev J., Shchavinskaja L.* La littérature biélorusse de la Pologne. Krynki, 2001; Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. На крайнем западе Востока. Минск, 2004 и другие.

4. См., напр.: *Лабынцев Ю.А.* Русская элита пушкинской поры и культурное наследие Великого княжества Литовского: Деятельность профессора И. Даниловича // Пушкін–Беларуская культура–Сучаснасць. Беларусіка–12. Мінск, 1999. С. 11–19; *Щавинская Л.Л.* Румянцевское десятилетие пушкинской эпохи и зарождение белорусской гуманитарной науки: Исследования о. Михаила Бобровского // Там же. С. 210–217; *Лабынцев Ю.А.* Н.П. Румянцев и изучение белорусско–литовского летописания и права // Н.П. Румянцев и славянская культура. М., 2000. С. 40–51; *Щавинская Л.Л.* Н.П. Румянцев и начало белорусоведческих исследований // Там же. С. 51–61; *Лабынцев Ю.А.* Письменное наследие Великого княжества Литовского в глазах первенцев польской и русской гуманитарной науки: Виленская школа и профессор И.Н. Данилович // Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002. С. 321–331; *Щавинская Л.Л.* У истоков славяноведения: Польско–русский диалог и о. Михаил Бобровский // Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002. С. 332–343 и др.
5. См., напр.: *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Писания святителя Кирилла Туровского в народной среде Восточного Полесья: От времени открытий румянцевского кружка до современности // Н.П. Румянцев и его эпоха в контексте славянской культуры. Гомель, 2004. С. 25–28; *Они же.* Образы святых Серафима Саровского и Иоанна Кормянского в современной народной книжности Восточного Полесья // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Гомель, 2004. С. 233–238; *Они же.* Многовековая судьба евхографического цикла Кирилла Туровского (от пергаменных кодексов до электронных воплощений в сети Интернет) // Текст в лингвистической теории и методике преподавания филологических дисциплин. Ч. 1. Мозырь, 2005. С. 139–140 и другие.

** Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям»*

О.В. Белова (Москва)

Этноконфессиональный навет как культурный текст
(по материалам из западных областей Белоруссии, Украины и из восточной Польши)*

Стереотипные представления относительно «чужих» обрядов, ритуалов и религиозных практик, изначально мыслящихся как «греховные», «кощунственные» и т.п., не только порождают тексты, описывающие конфессиональное противостояние в обрядовой сфере, но и являются отправными точками для оправдания определенного поведения относительно «чужих». Любая этническая (локальная) народная культура, основанная на идее этноцентризма, формирует обширный комплекс суеверных представлений относительно «чужих» религиозных и обрядовых практик, и базовым в этом комплексе является понятие навета, a priori не принимающее во внимание объективных сведений об элементах «чужой» культуры, предпочитающее фактам суеверные конструкции [1].

Таким образом можно говорить об этноконфессиональном навете как о культурном стереотипе, который охватывает не только широко известные обвинения инородцев в ритуальных убийствах и использовании христианской крови в религиозных обрядах, но и всю ритуальную жизнь «чужих» — их календарь и праздничные обряды, магические и медицинские практики, представления о потустороннем мире и т.п. Область религиозных наветов в народной традиции оформляется средствами различных жанров — от дразнилок и прозвищ до особым образом сконструированных пространных сюжетов (нарративов), бытующих как среди носителей традиционного сознания, так и в современной городской среде [2].

Причины и генезис навета как особого жанра рассматривались в целом ряде работ: навет как результат «непонимания» чужого религиозного обряда и последующих спекуляций [3]; «фальсификация» чужого обряда [4]; инверсия чужого обряда [5], формирование наветов для преодоления кризиса внутри собственной культуры — на примере отношения к детям в европейском средневековье [6]; конструирование наветных текстов с опорой на культурные концепты «своей» традиции [7].

Навет как тип культурного текста чрезвычайно широко распространен в регионах тесных этнокультурных контактов, где на протяжении длительного времени соседствовали различные конфессиональные и этнические традиции. И в этом нет парадокса: этноцентристские тенденции в отношении к «чужим» развиваются вовсе не от незнания их традиций; наоборот, и это подтверждается обширным аутентичным фольклорно-этнографическим материалом из поликультурных регионов, мифологизация чужаков характерна именно для тех традиций, которые своих соседей «знали в лицо».

В нашем исследовании представлены архивные и полевые материалы из западных областей Белоруссии, Украины, восточной Польши, входивших в черту оседлости. Материалы из этих регионов наиболее ярко отражают практику и мифологию соседства двух культур — славянской и еврейской. Основное внимание в нашей работе мы уделим предрассудкам и суевериям относительно магических практик евреев, как они виделись соседям-славянам, а также некоторым сюжетам, связанным с еврейскими праздниками.

Мы сознательно не рассматриваем подробно так называемый кровавый навет — универсальный сюжет, без которого в религиозной традиции европейского Средневековья и во многом в наследовавших ей более поздних народных верованиях невозможен этнокультурный «портрет» еврея. Этой обширной теме в связи с народной культурой посвящены специальные исследования [8], поэтому сосредоточимся на менее известных «наветных» сюжетах, представленных в живой народной традиции.

В системе народных верований представитель иной религии и национальности тесно связан с областью потустороннего, демонического и потому достаточно опасен [9].

После смерти инородца тело его, и при жизни бывшее потенциальным вместилищем «демонического» начала, может послужить для разного рода магических манипуляций. Особенно богата такого рода действиями магия овчаров, направленная на защиту отары от болезней, и порчи. Поскольку считалось, что причиной болезни овец может быть голова или другие части трупа христианина, закопанные под порогом или около овчарни, то в качестве охранительного средства хозяева могли использовать мертвое тело инородца (тела следовало добывать на кладбище в полночь; в случае необходимости «чужое» тело можно было заменить телом католика, но годился только труп висельника [10]). По материалам, опубликованным А. Цалой, подобные верования фиксировались в Польше и в 1980-е гг. [11].

Так, по свидетельствам из Малопольши, чтобы уберечь ягнят от сглаза, их в новолуние трижды перегоняли через то место, где овчар предварительно закопал тело еврейского ребенка [12]; подозреваемому в насылании порчи на овец подкладывали под порог труп (или части трупа) еврея, т. к. считали, что злая сила не может переступить через мертвое тело инородца [13]. По сообщению из окрестностей Радома, в 1869 г. овчар украл из могилы тело мертвого раввина, которого евреи почитали и через отверстие в могиле бросали внутрь деньги и записки с просьбами; овчар закопал тело в навоз под овчарней, чтобы овцы не дохли. Через несколько дней тело было обнаружено из-за распространившегося запаха, но среди евреев уже прошел слух, что их раввин «был живым (?) взят Господом на небо» [14].

Поляки в окрестностях Пинчова полагали, что для оберега купленных коней следовало в течение трех дней обносить трижды в день вокруг стойла труп еврея, а потом подвесить его над лошадьми в стойле [15].

Использование мертвого тела инородца могло быть и средством вредоносной магии. В Малопольше верили, что на овец нападет мор, если положить под порог овчарни труп еврея [16]. Упомянем также использование волос мертвеца-инородца во вредоносной магии в польской традиции: чтобы наслать порчу на соседа-кузнеца, на кузнечный очаг бросали частицы волос из бороды еврея, извле-

ченные из его могилы, вместе с каменной крошкой, соскобленной с надписи на еврейском надгробии, отчего в кузнице появлялось множество муравьев [17].

Чрезвычайно популярным средством, используемым в традиционной «черной» магии, была так называемая мертвая рука, с помощью которой можно было наводить сон на людей; из жира, вытопленного из руки мертвеца, разбойники делали свечи, с которыми в ночное время смело шли на грабеж: будучи зажженной, такая свеча немедленно погружала в сон обитателей дома.

Так, в 1845 г. в Канцелярии Гродненского губернатора рассматривалось дело «О привлечении к уголовной ответственности крестьянина Трохимовича за разрытие могилы, отрубление руки у мертвого тела и за воровство» (Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно — НИАБ в г. Гродно, ф. 1, оп. 2, д. 732).

Обвиняемый крестьянин Михайла Трохимович «в корчме у еврея Абрамовича покрал разных припасов и денег», и при обыске у него была найдена отрубленная человеческая рука (л. 2). На следствии Трохимович показал, «что ему по слухам известно было свойство руки мертвеца наводить на всех крепкий сон, и как бы он имел намерение производить кражу у еврея, то желал воспользоваться сим средством, отправился днем сам один на христианское кладбище, разрыл могилу похороненной в недавнем времени крестьянки Боковой, отрубил у нее руку и, зарыв опять мертвое тело, воротился с этою рукою домой, а на другой день отправился с нею в <…> корчму, влез в оную через окошко и похитил два гарнца соли, два пирога и денег 7 р. 65 к. серебром» (л. 2 об.).

Обвинение постановило: «уличается в разрытии могилы, отрублении у мертвеца руки и краже с употреблением этой руки для усыпления домашних, и так совершил преступление в виде колдовства <…> и в поведении опорочен» (л. 3 об.). Назадачливый маг был приговорен к битью кнутом и ссылке в каторжную работу. Но, учитывая тот факт, что причина его преступления «суеверие и глупость», наказание смягчили, ограничившись публичным битьем плетью и ссылкой в Сибирь на поселение (л. 4–4 об.).

Видимо, в народе полагали, что использование в такой ситуации руки, принадлежащей не «своему», а «чужому» покойнику, может

усилить магический эффект. И тогда вновь вспоминали об этнических соседях.

Среди материалов НИАБ в г. Гродно представлено дело, согласно которому в 1838 г. трое крестьян Волковысского уезда — Адам Масловский, Илья Войщук и Алексей Кулик — были преданы суду «за разрытие могилы и отрезание мертвому еврейскому ребенку руки для совершения обмана и колдовства» (НИАБ в г. Гродно, ф. 1, оп. 11, д. 374, л. 1). Отрезанная рука была найдена в сундуке одного из злоумышленников; установлено, что рука принадлежала «малолетнему еврею Абраму Абрамовичу». Там же был найден ключ, который подходил к сундуку помещика Прушинского. В своем заявлении помещик утверждал, что крестьяне замыслили ограбить его и убить, а рука мертвеца должна была «по мнимому их колдовству <…> послужить им в сем преступлении к усыплению людей» (л. 3). Виновные же отрицали планы ограбления, говоря, что «эту руку приобрели они будто бы для успения дворовых девок и удовлетворения любострастных своих желаний» (л. 3 об.). По решению суда, хотя «преступление заключает в себе глупость и обман» (л. 1 об.), виновные были лишены всех прав и состояния, публично биты кнутом и сосланы в каторжные работы (л. 2).

В архиве Гродно есть еще одно интересное дело 1828–1829 гг., рассматривающее (в отличие от предыдущего) использование человеческих останков в магических целях евреями — «О расследовании факта найденных человеческих черепов и костей в доме жителей местечка Скидель Берковой и Хаимовой» (НИАБ в г. Гродно, ф. 1, оп. 3, д. 352). В донесении приходского священника Илишенника говорится, что «скидельские еврейки Черна Беркова и Фейга Хаимова <…> принесли в свои домы несколько черепов человеческих голов, и когда он, священник, прибыл с братчиками в их домы для обыска, нашел тамо у первой Черни Берковой череп человеческой головы и две куски кости, уваренных в горшке, а у последнией Фейги два черепа тех же человеческих голов, спрятанных в платье, каковые, забрав с собою, поставил в церкви (л. 1–1 об.). На следствии еврейки показали, что «черепа тех человеческих голов и кости найдены ими во рву близ дороги в Скидельскому Двору идущей, и что сие не на что иное взято, как на лекарство от лихоратки» (л. 3)

для трехлетней дочери Черни Сорки. В горшок с борщом кости попали случайно, когда Черня, испугавшись обыска, бросила их туда. Свидетели подтвердили, что видели во рву брошенные кости, принесенные туда скорее всего паводком; следствие доказало, что черепа и кости были старые («оная голова от давнего уже времени подверглась порче» — л. 32), факт убийства установлен не был, как и то, «какого тот человек при жизни своей был исповедания» (л. 2). Но поскольку еврейки были уличены в суеверии и в том, что «предприняли сами собою кости означенной головы употребить на предмет излечения лихорадки без всякого на то права» (л. 32–32 об.), суд постановил «наказать по 10 ударов розгами <...> и отнятые кости предать зарытию в земле» (л. 32 об.)

Особую группу фольклорных нарративов составляют рассказы о том, что «чужие» причастны к распространению заразных болезней. Согласно ряду свидетельств (в т. ч. средневековых антииудейских сочинений), евреи могли обвиняться в насылании эпидемий и т. п. В польских источниках XVII в. находятся указания на то, что евреи распространяли моровое поветрие, заставляя нанятого ими крестьянина вливать молоко христианской женщины в ухо висельника. На рубеже XIX и XX вв. в Западной Белоруссии в окрестностях местечка Индура «был заподозрен еврей-портной <...> что будто бы он бросил что-то в колодезь с целью отравить воду»; на самом деле еврей отбивался камнями от напавших на него собак, и один камень упал в колодец; видевший это крестьянин заявил, что «бачіў, як жид кинуў чары ў воду»; от расправы еврея спасло только вмешательство местного помещика [18]. В середине XIX в. во время эпидемии холеры в Польше (в Новом Месте на р. Пилица) возникло возмущение среди населения из-за того, что евреи якобы закопали на своем кладбище колокольчик и мельничные задвижки, чтобы отвратить холеру от еврейских домов и наслать ее на дома христиан [19]. По сообщению из Галиции (Дрогобычский пов.), во время эпидемии холеры евреи похитили крест с христианского кладбища, сожгли его и углями обвели вокруг своих домов магический круг [20].

Что касается профессиональной деятельности, то наиболее прокомментированной славянским населением рассматриваемых регионов была деятельность евреев — содержателей шинков.

Приемы, которые использовали евреи-корчмари для привлечения клиентов отличались особой колоритностью. Отметим, что приемы эти не были специфически «еврейскими» — аналогичные действия совершали кабатчики и в Центральной России (скорее, здесь можно говорить о цеховой магии). В Гродненской, Виленской, Ковенской губ., а также в Карпатах, в Подолии и в Польше бытовало верование, что евреи стремились завладеть веревкой, на которой повесился самоубийца; кусочки от нее они держали в бочке с горилкой или тайком подбрасывали в рюмки пьющей публике, чтобы люди шли к ним так же активно, как они шли смотреть на покойника [21]. На пограничье Белоруссии, Литвы и Польши было широко распространено верование, что «жиды, в особенности корчмари, изо всех сил хлопочут добыть себе веревку, на которой повесился самоубийца, и затем стараются подбрасывать из нее клочок в рюмку водки человеку непьющему, в полной уверенности, что последний сделается пьяницей, пропьет ему, корчмарю, все его состояние» [22]. Сходное верование бытовало у верховинцев Закарпатья: «Веревка, на которой повесился самоубийца, очень ценится евреями-корчмарями, т.к. они кусочки от нее бросают в паленку, и народ непрестанно ходит к ним пить паленку» [23]. Любопытное свидетельство зафиксировано в Полесье: в бочке с горилкой у местного «орендара» были обнаружены кусочки веревки висельника. Считалось, что корчмарь делал это нарочно для спаивания клиентов-неевреев «штоб гои пили, да й сами на шибельницу [на виселицу. — *О.Б.*] лезли» [24].

На юго-востоке Польши евреи-корчмари для привлечения гостей угощали их водкой, пропущенной через шейку гуся или утки; считалось, что испивший такой водки будет постоянно приходить в корчму, «как утка ищет воду» [25]. В Подолии с этой же целью евреи-шинкари угощали гостей настойкой из утиных голов: как утка любит воду, так выпивший настойку будет любить водку [26]. В Познаньском крае считали, что евреи собирают отпавшие колтуны из суеверия, что колтун, положенный в бочку с вином, обеспечивает удачу в распродаже спиртного [27]. В Подолии верили, что евреи моют пивом, водкой или медом свои «сыпи», приговаривая: «Як я

свое тило тым очищаю и волосы змываю вкупи, шоб так хрестьяне до мого напытку збажалыся» [28].

В фольклорных свидетельствах о сверхъестественных способностях «чужих» наветные мотивы могут содержаться и в имплицитной форме. Мы имеем в виду тексты, в которых формулируется

Еще одной группой профессионалов, заинтересованных в использовании «чужих» в своей магии, были животноводы. Среди овчаров Малопольши средством против сглаза овец считалось следующее: нужно в полночь пойти на христианское кладбище и взять мох с могилы, на которой стоит крест; затем с еврейского кладбища принести колоду и сварить в воде вместе со мхом, после чего окропить овец этой водой [29]. О магических практиках овчаров, направленных на борьбу с порчей и связанных с использованием мертвых тел см. выше.

Белорусы верили — чтобы вылечить от некоторых болезней свиней, нужно украсть «жидовскую ермолку», сварить в воде, которою потом и поить больных животных (Могилевская губ., Рогачевский у. [30]).

В контексте межконфессионального противостояния отнюдь не случайным кажется концентрация вокруг тех или иных еврейских праздников (и прямая к ним приуроченность) разнообразных слухов и толков довольно мрачного характера, призванных держать конфессиональных оппонентов в эмоциональном напряжении.

Именно к таким «страшным» сюжетам относится представление о похищении чертом евреев в Судный день. Согласно народным представлениям украинцев, белорусов и поляков, ежегодно в Судный день (день очищения, еврейский праздник Йом Кипур) дьявол похищает из каждого села или местечка еврея или еврейку, чтобы в вихре унести в болото, бросить в пропасть, посадить на высокую сосну или осину, растерзать или замучить до смерти. В глухую полночь поднимается ветер, начинается буря, гаснут все свечи; когда евреи снова их зажигают, то видят, что среди них не хватает людей. Исчезнувших не ищут и не оплакивают, т.к. известно, что их похитил «злой дух». Чтобы уберечься от этого, евреи приглашают на свою молитву христианина с *громничной* свечой (принесенной из церкви на Сретенье). Свеча горит в укрытии, и когда появляется

черт, свечу открывают, и черт убегает [31]. Этот мотив отразился и в белорусской сказке. Евреи одного местечка позвали на свой праздник парубка, служившего в корчме, потому что «ведамо, баяцца, каб іх чорт не ўхапіў і заўжды наймаюць сабе хрышчонаго чалавека на сьвята, каб ён абараняў іх ат чарцей» [32]. Евреи не учли лишь одного: парень оказался «ведьзмаром» (колдуном) — «не то, што не хрышчоны, але й сам з ліхімі знаецца» [33].

От поляков, проживающих в Литве было записано свидетельство, согласно которому оберегом от черта-похитителя может стать одежда христианина: «Однажды еврейка перед Страшной ночью пришла к моей маме, чтобы одолжить у нее такой большой платок на плечи — тот самый, что мама надевала в костел — этот платок был освященный. И как еврейка тот платок надела, то уже дьявол не мог ее унести» [34].

Следует отметить, что в обследованных нами регионах не удалось зафиксировать ни одного рассказа о «хапуне» от евреев [35]. Носители еврейской традиции единодушно отрицали свое знакомство с этим сюжетом. Однако при таком широком распространении поверья о «хапуне» среди славянского населения трудно предположить, что евреям оно было совсем не знакомо. Но на сегодняшний день в нашем распоряжении имеется лишь единственное свидетельство, записанное от евреев в Литве: «Страшная ночь, это когда один такой черт, нечистая сила, Антихрист, похищает из дома одного еврея в лес, на смерть. Так верят, но это неправда <…> Защищались от этого, знаки какие-то на доме делали <…> Этот знак рисовал старший в доме, такой крест, но не такой, как у христиан» [36]. При отсутствии других аналогичных свидетельств трудно судить, насколько данный вариант инициирован христианской традицией (упоминание нечистой силы и Антихриста) и насколько он аутентичен для традиции еврейской.

Правда, сюжет о «хапуне» получил один неожиданный отклик в еврейском фольклоре, но и здесь он представлен как некое «русское» суеверие относительно евреев. Речь идет о легенде, связанной с ходатайством еврейского депутата Зунделя Зонненберга о защите евреев белорусского местечка Калинковичи от обвинений в якобы имевшем место сокрытии беглого преступника (за указание на этот

интереснейший источник автор благодарит О.Ю. Минкину). Согласно этой легенде, когда депутат Зонненберг рассказал о случившемся «министру по еврейским делам» (так в легенде представлена личность министра духовных дел и народного просвещения А.Н. Голицына), тот велел тотчас же прекратить дело, заявив, что «этого арестанта точно унес нечистый (*nicht-guter*), и нечего тут обсуждать! Ведь всем известно, что во время чтения «Kol-nidrei» одного из присутствующих в синагоге евреев уносит черт (*tschort*)» [37]. Таким образом еврейская легенда констатирует, что суеверие относительно черта, похищающего евреев во время молитвы, распространено не только среди крестьян, но и в высшем обществе!

В народных рассказах о «хапуне» нет подробного описания внешнего вида этого демонологического персонажа (за исключением свидетельства из речицкого Полесья о том, что у черта большой косматый хвост, потому что в Судную ночь перед похищением еврея он должен одним махом потушить все свечи в «жидовской школе» [38]).

В известных на сегодняшний день фольклорных рассказах о Хапуне практически ничего не говорится о его внешности (чаще всего он является в виде вихря). Встречаются редкие исключения, как, например, в рассказе из Подолии (п. Сатанов), где похититель появлялся в виде огромного орла [39]. В связи с этим упомянем проделки польской местечковой молодежи, приуроченные к еврейским богослужениям. Среди молодежных «забав» были и такие: шутки ради по субботам или в праздники в синагогу могли запустить ворону или черного кота.

Возможно, явление ворона в синагоге, с точки зрения поляков, и должно было быть свидетельством «материализации» демонологического персонажа? Это предположение подтверждается свидетельством из юго-восточной Польши (Сенява): местная молодежь пускала в кущу или в синагогу ворону или галку, мечущаяся птица гасила свечи, горящие внутри, а евреи прерывали моление, так как «думали, что это [злой] дух» [40].

В свете этого легендарного сюжета можно по-новому взглянуть на поговорки типа «Żydzie, żydzie, szto za taboju idzie? Idzié u czyrwonuom kapielúszu, hap za twaju duszu!» (бел.) [41] или «Žide,

Žide, čert za tebou ide, červenou čepicou po hlave ťa bije» (словац.) [42]. Вполне вероятно, что черт, хватающий душу еврея, это не просто дьявол, который, по поверьям, распоряжается душами всех инородцев и иноверцев, а именно «хапун», похищающий евреев в Судный день.

Упомянем в связи с этим и детскую игру «В пекло», зафиксированную собирателями в Минской губ.: «Вокруг заранее выкопанной ямы, имеющей около полутора аршина ширины и до аршина глубины, садятся дети, спустив в нее ноги, и начинают бессвязно кричать, подражая крику евреев в синагоге; в это же время один из мальчиков, более сильный, с выпачканным сажей лицом, исполняющий роль дьявола, появляется из будки, скрывающей его от глаз играющих детей, хватает одного мальчика и уводит его к себе в будку, которая называется «пеклом». Уведенный мальчик теряет право быть участником игры» [43]. Не есть ли это «игровой» вариант «хапуна», акционализирующий легендарный текст?

На материале различных фольклорных жанров (легенды, слухи и толки, поверья, паремии) мы постарались показать, как реализуется идея этноконфессионального навета в традиционных народных верованиях. При этом в области народной магии практика соседства только укрепляла фольклорно-мифологические стереотипы в отношении «своих» и «чужих».

Литература

1. См.: *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005. С. 125–157; *Панченко А.А.* Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002. С. 153–170; Encyclopedia of Folklore and Literature / Ed. by M.E. Brown, B.A. Rosenberg. Oxford, 1998. P. 555–556.
2. *Дандес А.* «Кровавый навет» или легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм сквозь призму проективной инверсии // *Дандес А.* Фольклор: семиотика и/или психоанализ. М., 2004. С. 204–230; *Seidenspinner W.* Aggressive Folklore // Zeitschrift für Volkskunde. 1996. Jahr 92. S. 208–226; *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. С. 114–123; *Чарный С.* Кровавые наветы в СССР // Тирош. Труды по иудаике. М., 2003. Вып. 6. С 207–217.

3. *Roth C.* The Feast of Purim and the Origins of the Blood Accusation // The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison, The Uneversity of Wisconsin Press, 1991. P. 261–272.
4. *Панченко А.А.* Христовщина и скопчество.
5. *Петрухин В.* Евстратий Постник и Вильям из Норвича — две пасхальные жертвы // Праздник–обряд–ритуал в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2004. С 84–103.
6. *Schultz M.* The Blood Libel: A Motif in the History of Childhood // The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison, The University of Wisconsin Press, 1991. P. 273–303.
7. *Белова О.* «Со своим уставом в чужой монастырь»: «наступательная» модель в этноконфессиональном диалоге // Праздник – обряд – ритуал в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2004. С. 119–136; *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции.
8. См.: *Dundes A.* The Ritual Murder or Blood Libel Legend: A Study of Anti-Semitic Victimization through Projective Inversion // The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison, The University of Wisconsin Press, 1991. P. 336–376; *Schultz M.* The Blood Libel: A Motif in the History of Childhood; *Трахтенберг Д.* Дьявол и евреи. Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом. М., Иерусалим, 1998 (5758); *Cała A.* Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa, 1992; *Cała A.* The Image of the Jew in Polish Folk Culture. Jerusalem, 1995; *Zowczak M.* Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław, 2000; *Панченко А.А.* Христовщина и скопчество; *Дандес А.* «Кровавый навет» или легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм сквозь призму проективной инверсии; *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции; *Белова О.В.* Народные версии «кровавого навета»: мифологизация сюжета в славянских фольклорных нарративах // Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии. Ред. Ж.В. Кормина, А.А. Панченко, С.А. Штырков. СПб., 2006. Изд-во Европейского ун-та. С. 217–225.
9. Подробнее см. *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. С. 213–257.
10. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. T. 19: Kielickie. Cz. 2. Wrocław; Poznań, 1963. S. 213.
11. *Cała A.* Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. S. 148.
12. *Federowski M.* Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Warszawa, 1889. T. 2. S. 243.

13. *Federowski M.* Там же. S. 240.
14. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. T 46: Kaliskie i Sieradzkie. Wrocław; Poznań, 1967. S. 493.
15. *Siarkowski W.* Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Pinczowa // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1885. T. 9. S. 40.
16. *Siarkowski W.* Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1879. T. 3. S. 31.
17. *Fischer A.* Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów, 1921. S. 218; *Siarkowski W.* Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Pinczowa. S. 42.
18. *Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1902. Т. 3. С. 292–293.
19. *Baranowski B.* W kręgu upiorów i wilkołaków. Łódź, 1981. S. 262–263.
20. *Щербаківський Д.М.* Сторінка з української демонології (вірування про холеру) // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991. С. 548.
21. *Франко І.* Людові вірування на Підгірю // Етнографичний збирнік. Львів, 1898. Т. 5. С. 213; *Чубинский П.П.* Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. СПб., 1872. Т. 1. Вып. 1. С. 209; *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. T. 17: Lubelskie. Cz. 2. Wrocław; Poznań, 1962. S. 93; *Wierzchowski Z.* Materyały etnograficzne z powiatu Tarnobrzeskiego i Niskiego w Galicyi // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1890. T. 14. S. 201; *Сержпутоўскі А.* Прымхі і забабоны беларусаў-паляшукоў. Менск, 1930. С.196.
22. *Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1890. Т. 1. С. 550.
23. Подкарпатська Русь. Унгвар (Ужгород), 1929. Ч. 4. С. 91.
24. *Pietkiewicz Cz.* Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Warszawa, 1938. S. 219.
25. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. T. 51: Sanockie i Krośnieńskie. Cz. 3. Wrocław; Poznań, 1973. S. 61.
26. *Зеленин Д.К.* Описание рукописей Ученого архива Имп. Русского географического общества. Пгр., 1916. Вып. 3. С. 1074.
27. *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. T. 11: W. Ks. Poznańskie. Cz. 3. Wrocław; Poznań, 1963. S. 225–226.
28. *Зеленин Д.К.* Описание рукописей Ученого архива Имп. Русского географического общества. С. 1075.
29. *Siarkowski W.* Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. S. 31.
30. *Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1893. Т. 2. С. 289–290.

31. *Демидович П.* Из области верований и сказаний белорусов // Этнографическое обозрение. М., 1896. № 1. Кн. 28. С. 119–120; *Cała A.* Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. S. 200; *Federowski M.* Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków, 1897. T. 1. S. 238.
32. *Сержпутоўскі А.К.* Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета. Мінск, 2000. С. 178.
33. Там же.
34. *Hryciuk R., Moroz E.* Wizerunek Żyda // Polska sztuka ludowa – Konteksty. 1993. № 3–4. S. 91.
35. Подробнее см.: *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. С. 231–239.
36. *Hryciuk R., Moroz E.* Wizerunek Żyda. P. 87.
37. *Минкина О.Ю.* Еврейские депутаты первой четверти XIX в. в семейных преданиях и фольклорных нарративах (в печати).
38. *Pietkiewicz Cz.* Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. S. 188; *Пяткевіч Ч.* Рэчицкае Палессе. Мінск, 2004. С. 457.
39. *Белова О., Петрухин В.* Демонологические сюжеты в кросскультурном пространстве // Между двумя мирами: представления о демоническом и потустороннем в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2002. С. 213–215.
40. *Cała A.* The Image of the Jew in Polish Folk Culture. P. 54.
41. *Federowski M.* Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. S. 16.
42. *Rothstein R.* Jews in Slavic Eyes – the Paremiological Evidence // IX World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1985. P. 187.
43. *Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 3. С. 222.

**Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН (проект «Русский фольклор в ближайшем этническом окружении»)*

Сведения об авторах

Бавтрель Инесса Георгиевна – младший научный сотрудник отдела современной белорусской литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Белова Ольга Вячеславовна – доктор филологических наук, старший научный сотрудник отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН

Гаранин Леонтий Яковлевич – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела теории литературы (1971–2006) Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Голуб Тереза Станиславовна – кандидат филологических наук, заведующий отделом изданий и текстологии, и. о. заместителя директора Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Горелик Любовь Николаевна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела современной белорусской литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Городницкий Евгений Андреевич – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела теории литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Дудинская Дина Иосиф-Тадеушевна – кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела современной белорусской литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Журавлёв Василий Прокопович – доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела белорусской литературы XX века Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Лабынцев Юрий Андреевич – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела восточного славянства Института славяноведения РАН

Лопато-Загорский Александр Николаевич – младший научный сотрудник отдела современной белорусской литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Максимович Валерий Александрович – доктор филологических наук, доцент (1999), заведующий отдела белорусской литературы XX века, и. о. директора Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Мушинский Михась Иосифович – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела изданий и текстологии Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Стрельцова Вероника Михайловна – кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела современной белорусской литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Тычина Михась Александрович – доктор филологических наук, заведующий отдела теории литературы Института литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси

Хорев Виктор Александрович – доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом истории славянских литератур Института славяноведения РАН

Щавинская Лариса Леонидовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела восточного славянства Института славяноведения РАН

Содержание

Научное издание

Белорусско-российский диалог
(Культура и литература Беларуси XX–XXI вв.)

Сборник статей

Статьи публикуются в авторской редакции

Подписано в печать 14.11.2006
Формат 60×84/16 Печ. л. 15,0
Тираж 300 экз. Цена договорная

ООО «Пробел–2000»
Москва, Поварская ул., 36